



С. ВИТИЦКИЙ

Бессильные мира сего

С. Витицкий
Бессильные мира сего

«Наследник Стругацких»

«Автор»

2002

Витицкий С.

Бессильные мира сего / С. Витицкий — «Наследник Стругацких», «Автор», 2002

Действие романа происходит не в далеком будущем, как чаще всего бывало в сочинениях А. и Б. Стругацких, но «здесь и сейчас». Внешняя интрига – попытка неких криминальных структур использовать способность одного из героев угадывать будущее. Примет нашего времени (мафия, коррумпированные выборы, «новые русские») в романе достаточно, но, как всегда, главное в нем – интрига идей и «проклятые» вопросы: имеем ли мы право на вмешательство в чужие дела, пусть даже и во имя высшей цели (привет благородному дону Румате!), где пролегает грань между чистыми побуждениями и своекорыстием, а также – в чем сила и в чем бессилие личности в истории.

© Витицкий С., 2002

© Наследник Стругацких, 2002

© Автор, 2002

Содержание

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Глава первая. Сентябрь | 5 |
| Лирическое отступление № 1 | 17 |
| Глава вторая. Декабрь. Второй понедельник | 18 |
| Лирическое отступление № 2 | 31 |
| Глава третья. Декабрь. По-прежнему второй понедельник | 34 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 42 |

С. Витицкий

Бессильные мира сего

*Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!*

Александр Кушнер

«Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но этого не делает».

Даниил Хармс

Глава первая. Сентябрь

Вадим Данилович Христофоров по прозвищу Резалтинг-Форс

– Сегодня я во сне покойного отца видел, – сообщил Тимофей Евсеевич с крайней озабоченностью в голосе. – Значить? Что-нибудь плохое случится обязательно...

Вадим посмотрел на него без всякого интереса и, ничего не ответив, снова углубился в вычисление средних взвешенных. Ему оставалось обработать еще два последних ряда наблюдений, а Тимофей Евсеевич Сыщенко ни в каких его ответах и тем более комментариях не нуждался. Он в очередной раз починал примус. Бензиновый, бесшумный, наиновейший (чудо конверсии с реактивной тягой) и потому особенно охотно засоряющийся. Казенный.

Жара уже подступала. Ветерок, поднявшийся было с утра, совсем стих, день снова обещал стать томительно жарким, потным и изнуряющим. Небо было чистое, совсем без облаков, но Бермамыт и Кинжал у самого горизонта на востоке и на западе затянуты были сизой дымкой, словно там кто-то тайно палил невидимые костры.

Вадим закончил обработку ночных наблюдений, убрал записи в папку, посмотрел на Эльбрус, призрачный, почти прозрачный на белесоватом чистом небе и почему-то вдруг вспомнил, что давным-давно ничего не писал в дневник. Он сходил в командирскую палатку, выкопал дневник из-под ночного обмундирования и снова уселся за столик. Полистал. Зацепился за какую-то запись. Стал читать.

«14.08. ...Хребет хорош, он похож чем-то на лунные хребты. Эльбрус страшен и странен над тучами. А наш Харбас порос коротенькой травкой и жиденькими синими цветочками. Летают шмели и жадно и грубо в эти цветочки вцепляются, словно хотят их тут же изнасиловать. Утром вдруг раздалось шипенье крыльев и отчаянный крик. Пронеслась тень, и под машину забила перепуганная насмерть пичужка. Оказалось, это была неудачная атака сокола...

...Тенгиз говорил, что нельзя долго оставаться в контакте с Богом, сохраняя при этом здравый рассудок. Кажется, это из Умберто Эко. Или нет? Неважно. Главное – сильно сказано...

*За то, что пока живые, исправно идут полевые,
За то, что туманы злые, за то, что в горах обвал.
Здесь только кручи, да зыбучий перевал,
И в медленных тучах Харбас, Бермамыт, Кинжал...»*

«16.08. Стоит Командору уехать, и что-нибудь обязательно случается. На лагерь напали коровы. Здоровенный серый бугай с громоподобным силным рычанием принялся тереться об антенну и моментально сорвал противовес. Коровы подошли и стали шеренгой, тупо глядя на лагерь. Бугай был столь величествен, что я сначала было решил трусливо отлежаться в палатке, надеясь, что все как-нибудь само собою утрясется. Но бугай пригласил чесаться еще трех коров (видимо, самых любимых), и они начали шумно мочиться у меня над ухом, а все стадо двинулось прямо на лагерь. Тогда я судорожно зарядил ружье и пошел искать пастуха. Пастуха, разумеется, нигде не было. Тогда я вернулся (коровы тем временем подошли вплотную) и заорал бугаю: „У-у!“ и замахал на него руками. Бугай ответил: „У-у!“ и сделал шаг вперед. Я, трепеща, кинулся за командирскую палатку и оттуда заорал уже коровам: „Пошли вон – туда вас и растуда!!!“ Коровы отшатнулись. Тут меня осенило. Я взял канат, стал им хлопать, и крутить, и вопить „У-у!“, но обращаясь при этом исключительно к коровам. Коровы, будучи всего лишь женщинами, дрогнули и стали отступать. Бугай оценил мою деликатность и тоже стал небрежно удаляться, по пути заигрывая с коровами. Потом они все ушли. Мораль: никогда не ори на начальника – ори на подчиненных и терпеливо ожидай, пока до начальника дойдет, в чем дело и как ему поступать надлежит...»

«18.08. ...В палатке было темно.

– Эй, хозяин, – позвал я негромко. Никто не отозвался. Я присел на корточки и пошарил рукой. Я нащупал ногу в сапоге и дернул, по возможности деликатно. Нога мотнулась у меня под рукой и снова застыла.

– Хозяин! – позвал я, уже понимая, уже догадываясь, что дело – дрянь. Человек в палатке молчал. И вдруг я почувствовал, что у меня стало холодно внутри. Человек не дышал.

Я полез в карман ватника и чиркнул зажигалкой. Ветер колебал синенький огонек, но я разглядел человека целиком. Он лежал навзничь, вытянувшись, бессильно положив ладони рядом с телом, и смотрел в низкий потолок прикрытыми глазами. Лицо у него было разбито, и кровь засохла черными пятнами, и черные пятна засохли на больших широких ладонях...»

Вадим не стал читать дальше. Он только исправил «низкий потолок» на «провисший» и перебрал сразу несколько страниц текста.

«20.08. Ночью грянул ураган. Вдруг погас примус, палатку рвануло, и что-то на меня навалилось. Вырвало два кола. Унесло: стол – на 10 метров, крышки от кастрюли на 20 метров, миску – на 50 метров...

Вот пришло в голову: всякий альтернативный вариант истории содержит больше социальной энтропии, нежели реально осуществившийся. Или другими словами: история развивается таким образом, чтобы социальная энтропия не возрастала. Вторая теорема Клио. (А как же Смутные времена? Чингисханы, Тамерланы, Атиллы? Это –

микространства истории, микрофлюктуации. И вообще, кто знает: если бы Темучина придушил в детстве дифтерит, может быть, появился бы такой его заместитель, который вообще съезг бы полмира...»

«21.08. Опять один. Сражаюсь с коровами как лев. У всякой убегающей коровы хвост вытянут, а кончик хвоста расслаблен и болтается свободно. Кажется, что корова насмешиливо делает тебе ручкой. Должен отметить, что самое страшное на свете животное – корова. (Хантер не прав: он считает, что леопард; какая ерунда!) Я был разгромлен. Противовес срывали дважды, рация не работает. Два раза мне удалось опянуть бугая, но в третий раз он зашел с запада, оказавшись внезапно у меня за спиной, и стал в трех шагах. Он рыл копытом землю, уставлял рога и с сипением разевал пасть – видимо, грязно ругался...»

Последняя запись была недельной давности:

«29.08. Сижу один. К яцику прислонена дубина, рядом пирамида бульжников. На психрометре лежит рогатка с запасом зарядов. Жду врага, но враг от жары настолько ошалел, что даже и не нарывается – только чешется остервенело об треугольный знак третьего класса...»

Он взял ручку, снова поглядел на Эльбрус, вдохновляясь, и стал писать: *«Вот и еще неделя прошла, – писал он. – Неплохая была неделька – жаркая и без дождей с градом. Хотя по утрам иней уже выпадает, и мерзнет нос, высунутый из спальника. Время идет, а записывать совсем не хочется. Сидим на Харбасе, теперь – с Тимофеем. Каждый день одно и то же. Встали, поели горохового супа и – читать-перечитывать старые журналы. И, конечно же, споры обо всем, переходящие на личности. Потом вечер, зажигаем примус, зажигаем свечу и – шахматы, какао и снова споры обо всем, переходящие на личности. Тимофей – странный человек. Командор как-то сказал про него (с задумчивостью в голосе): «Интересно, сколько „с“ в слове „Сыщенко“?...»*

Странный человек Тимофей подал голос:

– Пожалуйста вам. Принимайте гостей. Давно не виделись.

Это, оказывается, Магомет пожаловал. Во всей своей дикой грязноватой, небритой, хищной, горбоносой красе, наводящей на Тимофея Евсеевича спасительный первобытный ужас. На этот раз он, элегантно скособочившись в седле, держал в правой руке эмалированное ведро. Как тут же и выяснилось – с мясом. Точнее – с бараниной.

– Начальство посылает, – объяснил Магомет, остановивши лошадь и передавая ведро Вадиму.

Вадим принял ведро и позвал:

– Тимофей Евсеевич. Будьте так добры.

Тимофей выскочил из-за кухонной палатки, схватил ведро и тотчас же с ним скрылся на своей территории, – только зыркнул настороженно из-под неопрятных бровей на Магомета. Магомет, очень довольный произведенным впечатлением, блеснул двумя рядами стальных зубов и сказал ему вслед:

– Ведро верни, да?

Вадим предложил:

– Спешься. Посидим.

– Спасибо, с утра сижу, – ответил Магомет в своеобычной манере.

– Чайку попьем, – настаивал Вадим.

– Спасибо. Ехать надо. Начальство. Гостей ждешь? – спросил он вдруг.

– Гостей? Откуда здесь гости. Никого не жду.

– А командир где?

– В разведку поехал. Вечером вернется.

Тимофей Евсеевич снова обнаружился рядом, теперь уже с опустошенным ведром. Магомет принял ведро, подбросил его в руке, посмотрел направо, посмотрел налево, сказал небрежно:

– Значит, гостей не ждешь? – и, не дожидаясь ответа, тронул лошадь.

– Эй, Магомет! Когда быка от нас заберете? – спросил Вадим ему в спину.

Магомет сел в пол-оборота и проговорил наставительно:

– Это дурной бык. Ты – бери камень и бей его между рогами. Изо всей силы. Он другого ничего не понимает. Дурной бык. Бери большой камень, и – между рогов...

– Свежее решение, – сказал Вадим уже ему в спину. – Изменим жизнь к лучшему.

Магомет больше не оборачивался – слегка покачиваясь в седле, он спускался по склону – без всякой дороги, по осыпи, на север, в сторону затянутой сизой дымкой каменной горы, знаменитой не только своим чарующим именем Тещины Зубы, но еще и автомобильным спуском, название которого в переводе означало Вредно Для Души. Подал голос Тимофей Евсеевич:

– Дрянное мясо, – сказал он сварливо. – Что с ним делать прикажете? Мы на нем себе последние зубы поломаем.

– Сделайте харчо, – предложил Вадим.

– Ну да... Харчо... Харчо вредно.

– Ну, сделайте баранью похлебку. С чесноком. И с макаронами. Снотворное и слабительное в одном флаконе. Не только вредно, но и вкусно.

Тимофей Евсеевич ничего на это не ответил, только принялся активно брякать какими-то своими тарелками-кастрюлями, а потом вдруг запел тоненьким голосом:

Чому мне ня петь, чому ня гудеть,
Коли в маей хатаньке парадок идеть?..

Томительная жара окончательно установилась и теперь стояла вокруг, воздух струился и дрожал над восточным склоном, и вдруг там бесшумно возникли и словно поплыли сквозь это дрожание пятнистые коровьи туши, рога, помахивающие хвосты, слюнявые морды. Вадим, задремывая в кресле, следил за ними слипающимися глазами. А Тимофей Евсеевич все тянул, все зудел печально и не переставая:

Мушка на акошечке на цимбалах бье,
Паучок на стеночке кресаньки тке.
Чому мне ня петь, чому ня гудеть,
Коли в маей хатаньке парадок идеть?..

Потом он вдруг резко сам себя оборвал и сказал как бы с недоумением:

– Наши едут?

Вадим тут же проснулся и прислушался. Ничего не было слышно, кроме шипения при-муса.

– Не может быть, – сказал он. – Откуда? Двух часов еще нет.

– А я вам говорю, что слышу. Машина едет. Оттуда.

Вадим снова прислушался. Кажется, и в самом деле раздавались какие-то посторонние звуки, но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой и – из суеверия и из чистого упрямства – он сказал:

– Да не может этого быть. Ясно же было сказано: не раньше девятнадцати, а скорее – позже.

– Хорошо-хорошо, – легко согласился Тимофей Евсеевич. – Пусть будет такочки...

Он стоял посреди своего хозяйства (примусы, тарелки, миски, вилки-ложки, ведра, канистры) и, сложив обе руки козырьком, смотрел на юг, в сторону дороги. Он соглашался исключительно и только потому, что был уверен в своей безусловной правоте. И чем увереннее он себя чувствовал, тем легче соглашался. Оппоненту полагалось самому, лично, без всяких дополнительных аргументов и его, Тимофеевых, усилий убедиться в том, что посрамлен. Это у Тимофея Евсеевича был такой высший пилотаж ведения диспута. На любую тему.

На дороге, из-за зеленого бугра, показалась автомобильная крыша, и сразу же сделалось ясно, что великий спорщик и победитель дал на этот раз маху – крыша была черная, блестящая, роскошная, совсем в этих местах неуместная: крыша большого, богатого, очень богатого, неприлично богатого автомобиля.

Потом и сам автомобиль появился – выполз с натугой из-за бугра – черный, сверкающий на солнце, угрюмо роскошный «джип-гранд-чероки», «сухопутный крейсер», по пояс залепленный серой подсохшей грязью. Выполз и сразу остановился, словно дальше ехать духу ему не хватало, постоял неподвижно несколько секунд, уставясь всеми своими двадцатью фарами, подфарниками и прожекторами, а потом распахнул разом четыре дверцы и принялся неторопливо и как бы нехотя извергать из себя пассажиров.

– Кто такие? – спросил Тимофей Евсеевич. В голосе его был страх.

– Не знаю.

– А почему это Магомет говорил, что вы ждете гостей?

– Он такого не говорил.

– Но я же сам слышал! – возразил Тимофей Евсеевич, и в голосе его взвизгнула истерика.

Трое шли к ним от джипа, и еще несколько осталось у машины, но Вадим смотрел только на этих троих. Собственно, он смотрел только на того, что шел посерединке – изящный, небольшой, очень аккуратный человек, весь в сером, элегантный, даже, кажется, с тросточкой. Старый знакомый. Он шел легко и споро, но без всякой, впрочем, торопливости – шел так, как ему было удобно идти, шел заканчивать дело, начатое еще в Петербурге, не законченное тогда, а теперь нуждающееся в быстром и эффективном завершении. Так ходят энергичные молодящиеся политические деятели перед объективами телекамер – решительно, напористо и целеустремленно. Узконосые штиблеты его аристократически сверкали на солнце, совершенно неуместные здесь, в мире кирзовых сапог и грязных кроссовок.

Слева от него, чуть отставая, вышагивал здоровенный шкаф, на полторы головы выше, обтянутый кожаной курткой, круглоголовый и, кажется, лысый, а может быть, выбритый наголо, – Вадим не стал его рассматривать, как не стал рассматривать и третьего – маленького, на вид совсем безвредного, мелкого, узкоплечего, с большой головой в кожаной кепке и в коричнево-зеленом камуфляже.

– Что за люди, никак я не могу понять... – бормотал Тимофей Евсеевич, – зачем они там остановились? Подъехать не могли?... – бормотал он, и еще что-то полурасборчивое и уже совсем в отчаянии.

Трое стремительно надвинулись и подошли уже почти вплотную. Серый знакомец приветливо помахал своей тросточкой, которая у него была вовсе не тросточка, а что-то вроде черной полированной указки, с которой он, видимо, всегда ходил. Не расставался. Как британский офицер со своим стеклом.

Здоровенный носорог обогнул хозяйственную палатку справа и остановился почему-то рядом с Тимофеем, возвышаясь над ним, словно Голем, и теперь видно было, что он никакой не бритый, а именно лысый – с остатками рыжего пуха над ушами и с конопатым теменем, на

котором уже и пуха не оставалось. Морда у него была круглая и неприятно асимметричная, словно он страдал флюсом.

Серый же со вторым своим спутником обогнул палатку слева и подошел к Вадиму со словами:

– Здравствуйте, здравствуйте, Вадим Данилович. Вот мы и снова свиделись. Что я вам говорил?..

Вадим смотрел, как он небрежно и элегантно усаживается за стол (без всякого приглашения), задирает ногу на ногу, сверкает покачивающимся штиблетом, тросточкой своей лакированной сверкает – черной остроконечной указкой с шариком на конце.

– У вас такой вид, Вадим Данилович, будто вы забыли как меня зовут... Или не забыли?

– Не забыл, – сказал Вадим сквозь зубы.

– Замечательно. Поговорим?

– О чем?

– Да все о том же. Запомнили?

Вадим молчал.

– Напомнить?

Вадим молчал, глядя на него исподлобья. Человек в сером улыбался – вежливой необязательной улыбкой светского льва, ведущего необязательный разговор о погоде. Или о политике. Или о футболе.

Большоголовый мелкий человечек в камуфляже, садиться не стал, хотя свободные стулья располагались тут же, на виду. Он прислонился спиной к наблюдательному столбу и сложным образом переплел тощие свои ноги. Он тоже улыбался, но как-то рассеянно, словно был далеко отсюда и думал совсем о другом. В сочетании со змеиными неподвижными глазками улыбка эта смотрелась странно и неприятно. Руки он держал в карманах куртки и все время шевелил там, в карманах, пальцами, словно что-то там, в карманах, разыскивал или ощущивал.

А здоровенный носорог нависал над Тимофеем, словно Идолище Поганое, – неподвижный, огромный, неуклюжий, будто бы надутый изнутри. Бедный Тимофей Евсеевич сидел под ним на корточках, боясь пошевелиться – зрачки у него были во всю радужку и судорожно бегали и дергались, похожие на издыхающих головастика.

– Это вы что же – через всю Россию перли сюда, чтобы опять говорить об этих глупостях? – спросил Вадим сквозь зубы.

– А я вас сразу предупредил, что наш разговор – серьезный. Вы к нему несерьезно отнеслись, но это уж ваша проблема. Есть люди, которые все это глупостью отнюдь не считают...

– Ну и напрасно. Я уже вам все и совершенно ясно сказал...

– Стоп. Так у нас ничего не получится, – сказал серый человек с выраженным сожалением. У него было странное имя-отчество: Эраст Бонифатьевич. Впрочем, ниоткуда не следовало, что его и на самом деле так зовут. – Давайте попробуем с самого начала, – предложил Эраст Бонифатьевич. – Вы ведь знаете, кого выберут губернатором?

– Гос-споди, – сказал Вадим, демонстративно закрывая глаза.

– Не «господи», а просто отвечайте. Знаете ведь?

– Ну, предположим, знаю.

– Нет уж, дорогой вы мой! Давайте без всяких «предположим». Знаете или нет? Ведь знаете же!

– Знаю, – согласился Вадим неохотно. – Генерала выберут.

– Слава богу! Наконец-то мы хоть о чем-то договорились.

– Да ни о чем мы не договорились. Я и раньше не отрицал, что знаю...

– Вот именно! О том и речь, Вадим Данилович. Об этом и речь! А теперь вопрос номер два: откуда вы это знаете?

Вадим сморщился.

– Ну не могу я этого вам объяснить! Откуда вы знаете, что «пройдет зима – настанет лето»?

– «Спасибо партии за это». Неудачный пример. Это все знают.

– Ну так и это все знают. Что Генерала выберут. Вы разве сомневаетесь?

– В высшей степени.

– Ну и зря. Во второй тур выйдут Генерал и Зюзючник. Победит Генерал. Дважды два – четыре.

– Я вот уверен, что выберут Интеллигента.

– Да? Вы хоть газеты читаете? Знаете, какой у Интеллигента рейтинг?

– Знаю. Но выберут Интеллигента, и вы тому, Вадим Данилович, поспособствуете.

– Опять! Я же вам ясно сказал еще в прошлый раз...

– То, что вы мне сказали в прошлый раз я прекрасно помню. А я вам тогда ясно объяснил, что этот ответ нас никак не устраивает. Помните?

– Кого это – «нас»?

– А вы не знаете? Нас. Крупными буквами: Н-А-С.

– Не понимаю.

– Все вы прекрасно понимаете. Не валяйте ваньку. Все вам было уже сказано и совершенно определено.

– Ничего мне не было сказано, – возразил Вадим упрямо. – Аятолла какой-то. Причем здесь аятолла? Аятолла здесь причем?

– Перестаньте валять ваньку, – повторил Эраст Бонифатьевич с напором. – Я не шучу.

Большеголовый тем временем извлек из кармана горсть орехов и принялся их – один за другим – очень ловко раскусывать маленькими специальными щипчиками. Зернышки он кидал в рот, не глядя, а шелуху ронял на траву. Все это получалось у него совершенно автоматически – глядел он только на Вадима, пристально и не мигая. Но – улыбаясь. Все еще. Только улыбка теперь сделалась у него совсем бледная, как это бывает на сильно недодержанной фотографии.

– Вы, Вадим Данилович, все-таки не молчите, – напомнил Эраст Бонифатьевич. – Я еще раз вам напоминаю и объясняю, если вы действительно меня так и не поняли: разговор у нас серьезный. Очень серьезный. Так что – вы лучше отвечайте.

Вадим разлепил сухие губы.

– Вы что же – на самом деле верите, что я могу делать будущее?

– Я не верю, – веско сказал Эраст Бонифатьевич. – Я знаю.

– Но это же бред, – сказал Вадим беспомощно. – Бред же!

– Совсем нет. Нам хорошо известно, что вы не только видите будущее, вы еще умеете его, как вы сами выразились, «делать». Мы знаем это из очень достоверных источников. Самых достоверных, Вадим Данилович!

– Бред, – повторил Вадим. – Неужели вы сами не понимаете, что это – бред?.. Ну не бывает же так!

И тут раздался неожиданный, а потому особенно ужасный вопль Тимофея Евсеевича:

– Вадим Данилович! Поберегитесь! Не обманывайте товарищей! Ведь вы же МОЖЕТЕ! Не противьтесь, сделайте, что они хотят...

– Господи, – сказал Вадим, глядя на него с ужасом. – А вы-то куда еще?..

– Я же все знаю! – Тимофей Евсеевич по-прежнему сидел на корточках, словно нужду справляя, и в этой жалкой позе обвинительно кричал, сотрясаясь как бы в ознобе и даже руку обвинительно простирая в сторону Вадима. – Я же вижу, как вы погоду все время нам делаете!.. Он погоду делает! – продолжал Тимофей Евсеевич теперь уже доверительно обращаясь непосредственно к серому Эрасту Бонифатьевичу, который всем видом своим выражал сейчас самый неподдельный к происходящей сцене интерес. – Он не предсказывает, не-ет, – он делает!

Всю дорогу. Когда устаем наблюдать – дождь. Когда надо наблюдений побольше – ведро!!! Смотрите: осень на дворе, а у нас здесь – жара, без порток ходим... Ему же наблюдения сейчас нужны, чтобы ясное небо было, он же не может, чтобы ни одной звезды за ночь!..

– Интересно все-таки, сколько «с» в слове «Сыщенко»? – спросил Вадим хрипло, а рыжий Голем вдруг положил огромную лапу Тимофею на голову, и Тимофей тут же замолчал, словно его выключили на полуслове.

Стало тихо, и в этой тишине Эраст Бонифатьевич подвел итог:

– Глас народа! – сказал он назидательно. – Вокс деи, так сказать. Не упирайтесь, Вадим Данилович, не надо. Все всё про вас давно знают. В девяносто третьем все до одного были уверены, что победят демократы. Весь советский народ, как один человек. Только вы говорили: нет, ребята, не будет этого, а будет вам Жириновский. Так оно и вышло! В девяносто четвертом все были уверены, что никакой войны в Чечне не будет, и только вы один...

– Чего вам от меня надо, вот я чего не понимаю, – сказал Вадим. – Что я по-вашему – волшебник, что ли?

– Не знаю, – сказал Эраст Бонифатьевич проникновенно. – Не знаю, и даже знать не хочу. Нам надо, чтобы победил на губернаторских выборах человек, которого все называют почему-то Интеллигентом, а уж как вы это сделаете, нас совершенно не касается. Волшебство? Пожалуйста, пусть будет волшебство. Колдовство, чары, телекинез... футурокинез, так сказать, – да ради бога. Вообще – пусть это будет ваше ноу-хау, мы не претендуем. Понятно?

– Мне понятно, что вы с ума сошли, – сказал Вадим медленно.

Он вдруг поднялся.

– Хорошо, – сказал он. – Ладно. Сейчас. Я только принесу бумаги...

Он шевельнулся – к палатке, но элегантный Эраст Бонифатьевич даже не посмотрел, а только лишь покосился в сторону рыжего Голема и тот, – единственный, кажется, шаг сделав, – тотчас оказался между входом в палатку и Вадимом.

– Рыжий-красный – человек опасный... – сказал ему остановленный Вадим, и асимметричное лицо Голема перекопилось еще больше, он даже, кажется, прищурился от напряжения.

– Чево?! – спросил он чрезвычайно агрессивно, но неожиданно высоким и сиплым голоском.

– ...А рыжий-пламенный поджег дом каменный... Извини, – поправился Вадим поспешно. – Ничего личного. Это я так – от ужаса.

– Не обращай на него внимания, Кешик, – сказал небрежно Эраст Бонифатьевич. – Это он от ужаса. Шутит. Очень перепугался. Это, как известно, бывает... Вадим Данилович, вы бы сели. Что вы, в самом деле, вскочили как прыщ. Один мой замечательный знакомец говорит в таких случаях: сядьте на попу... Ну что там у вас в палатке может быть? Двустволка какая-нибудь, я полагаю? Так ее надо ведь еще выкопать из-под барахла, потом патроны разыскать, зарядить... Смешно, ей-богу, не серьезно. Бросьте, давайте лучше дальше разговаривать.

Вадим снова сел за стол, пригладил волосы обеими руками.

– Как говорят в таких случаях англичане, – произнес он с вымученной улыбкой, – my poodle light, on dick as all. Что в переводе означает: мой пудель лает, он дико зол.

Эраст Бонифатьевич не сразу, но понял и сейчас же осведомился:

– Интересно, а что говорят в таких случаях голландцы?

– Не знаю.

– Ну хорошо, допустим... А французы?

– Алён-алён трэ, – немедленно откликнулся Вадим, – ма кар тэ ля пасэ.

– Что в переводе означает...

– Алена лён трэ, Макар теля пасэ. Сельская картинка. Левитан. Крамской. «Идет-гулет зеленый шум».

В ответ на это Эраст Бонифатьевич неопределенно хмыкнул и сказал с одобрением:

– Остроумно. Вы остроумный собеседник, Вадим Данилович. Но давайте вернемся к нашему маленькому делу.

– Но я не знаю, что вам еще сказать, – проговорил Вадим, устало прикрывая глаза. – Вы меня не слушаете. Я вам говорю: это невозможно. Вы мне не верите... Вы в чудеса верите, а чудес не бывает.

– А ЗНАТЬ будущее? – сказал Эраст Бонифатьевич с напором. – Знать будущее – это разве не чудо?

– Нет. Это не чудо. Это – такое умение.

– Исправлять будущее – это тоже умение.

– Да нет же! – сказал Вадим с досадой и с отвращением. – Я же объяснял вам. Это как газовая труба большого диаметра: вы смотрите в нее насквозь и видите там, на том конце, на выходе, картинку – это как бы будущее. Если бы вы эту трубу повернули – увидели бы другую картинку. Другое будущее, понимаете? Но как ее повернуть, если она весит сто тонн, тысячу тонн – ведь это как бы воля миллионов людей, понимаете? «Равнодействующая миллионов волей» – это не я сказал, это Лев Толстой. Как прикажете эту трубу повернуть? Чем? Х.ем, простите за выражение?

– Это полностью ваша проблема, – возразил Эраст Бонифатьевич, слушавший, впрочем, внимательно и отнюдь не перебивая. – Чем вам будет удобнее, тем и поворачивайте.

– Да невозможно же это!

– А мы знаем, что возможно.

– Да откуда вы это взяли, господи?!

– Из самых достоверных источников.

– Из каких еще источников?

– Сам сказал.

– Что? – не понял Вадим.

– Не «что», а «кто». Сам. Понимаете, о ком я? Догадываетесь? САМ. Сам сказал. Могли бы, между прочим, и сообразить, ей-богу.

– Врете, – проговорил Вадим и поперхнулся.

– Невежливо. И даже грубо.

– Не мог он вам этого сказать.

– И однако же – сказал. Сами посудите: откуда еще мы могли бы такое узнать? Кому бы мы еще могли поверить, сами подумайте?

В этот момент Тимофей Евсеевич словно очнулся от гипноза. Он издал странный скрипучий звук, сорвался вдруг с места и кинулся прочь – огромными прыжками, перескакивая через натянутые палаточные стропы, петляя из стороны в сторону, словно исполинский потный заяц с прижатыми красными ушами – выскочил из расположения и помчался к северному склону, прямо на призрачно мерцающие сахарные головы Эльбруса.

Все следили за ним, словно замороженные. Потом большеголовый любитель орешков спросил быстро, почти невнятно:

– Скесать его, командир?

– Да нет. Зачем? Пусть бежит... – Эраст Бонифатьевич вдруг легко поднялся и помахал своей тросточкой кому-то вверх кухонной палатки – видимо, тем, кто оставался у машины: все в порядке, мол, не берите в голову. – Пусть бежит, – повторил он, снова усаживаясь на место. – У него свои дела, у нас свои, правильно, Вадим Данилович?

Вадим молчал, глядя вслед Тимофею Евсеевичу – тот все еще скакал, все еще петлял, мелькая длинными голенастыми ногами в кирзовых никогда не чищенных сапогах. Он неплохо все это проделывал для пятидесятилетнего с лишним мужика, обремененного внуками и болезнями, – и даже очень неплохо. Видимо, сам господин Ужас нес его на своих бледных крыльях, и он сейчас не смог бы остановиться, даже если бы очень захотел.

– Молчите... – проговорил Эраст Бонифатьевич, так и не дождавшись не то чтобы ответа, но хотя бы какой-нибудь от Вадима реакции. – Продолжаете молчать. Проглотили дар речи... Ну, что ж. Тогда начинаем эскалацию. Кешик, будь добр.

Лысый носорог Голем-Кешик тотчас же надвинулся сзади и взял Вадима в свои металлические потные объятия – обхватил поперек туловища, навалился, прижал к складному креслу, зафиксировал, обездвигил, сковал, – только хрустнули внутри у Вадима какие-то не то косточки, не то хрящики. Теперь Вадим больше не мог шевельнуться. Совсем. Да он и не пытался.

– Руку ему освободи, – командовал между тем Эраст Бонифатьевич. – Правую. Так. И подвинься, чтобы я его физиономию мог видеть, а он – мою. Хорошо. Спасибо... Теперь слушайте меня, Вадим Данилович, – продолжал он, придвинув свое, неприязненно вдруг осунувшееся, лицо в упор. – Сейчас я преподам вам маленький урок. Чтобы вы окончательно поняли, на каком вы свете... Открыть глаза! – гаркнул он неожиданно в полный голос, вскинул свою черную указку и уперся острым жалом ее в щеку Вадима пониже левого глаза. – Извольте смотреть глаза в глаза! Это будет серьезный урок, но зато на всю вашу оставшуюся жизнь... Лепа, делай – раз!

Большеголовый мелкий Лепа освободил горсть от орешков, вытер ладонь о штаны и приблизился, небрежно брякая челюстями щипчиков. Это были блестящие светлые щипчики, специально для орехов – две металлических ручки с зубастыми выемками в том месте, где они скреплялись вместе поперечным стерженьком. Большеголовый мелкий Лепа неуловимым привычным движением ухватил в эти зубчатые выемки Вадимов мизинец и сжал рукоятки.

– Такой маленький и такой неприятный... – сказал ему Вадим перехваченным голосом. Лицо его сделалось серым, и пот вдруг выступил по всему лбу крупными каплями.

– Не паясничать! – приказал Эраст Бонифатьевич, мгновенно раздражившись. – Вам очень больно, а будет еще больнее. Лепа – два!

Мелкий Лепа быстро облизнулся и ловко перехватил второй палец. «Н-ну, ты! – прошипел Вадиму в ухо рыжий Голем-Кешик, наваливаясь еще плотнее. – С-стоять!...»

– Все. Хватит... – Вадим задохнулся. – Хватит. Я согласен.

– Нет! – возразил Эраст Бонифатьевич. – Лепа – три!

На этот раз Вадим закричал.

Эраст Бонифатьевич, опасно откинувшись на спинку кресла, наблюдал за ним, играя черной указкой с шариком. На лице его проступило выражение брезгливого удовлетворения. Все происходило по хорошо продуманному и не однажды апробированному сюжету. Все совершалось правильно. Непослушному человеку вдумчиво, аккуратно, умело и со вкусом давили пальцы, причем так, чтобы обязательно захватить основания ногтей. Человек кричал. Вероятно, человек уже обмочился. Человеку преподавали серьезный урок, и человек был расплюсчен и сломлен. Что, собственно, в конечном итоге и требовалось: человек в совершенно определенной кондиции.

Потом он распорядился:

– Все. Достаточно... Лепа! Я сказал: достаточно!

И они отступили, оба. Вернулись на исходные позиции. Как псы. В свои будки. Псы поганые. Шакалы. Палачи. Вадим смотрел на посиневшие свои пальцы и плакал. Пальцы быстро набухали, синее и багровое прямо на глазах превращалось в аспидно-черное.

– Мне очень жаль, – произнес Эраст Бонифатьевич прежним деликатным голосом светского человека. – Однако, это было безусловно необходимо. Необходимый урок. Вы никак не желали поверить, насколько все это серьезно, а это – очень серьезно! Теперь – следующее... – он сунул узкую белую ладонь за борт пиджака и извлек на свет божий длинный белый конверт. – Здесь деньги, – сказал он. – Неплохие, между прочим. Пять тысяч баксов. Вам. Аванс. Можете взять.

Длинный белый конверт лежал на столе перед Вадимом, и Вадим смотрел на него стеклянными от остановившихся слез глазами. Его сотрясала крупная дрожь.

– Вы меня слышите? – спросил Эраст Бонифатьевич. – Эй! Отвечайте, хватит реветь. Или прикажете мне повторить процедуру?

– Слышу, – сказал Вадим. – Деньги. Пять тысяч...

– Очень хорошо. Они – ваши. Аванс. Аванс не возвращается. Если шестнадцатого декабря победит Интеллигент, вы получите остальное – еще двадцать тысяч. Если же нет...

– Шестнадцатого декабря никто никого не победит, – сказал Вадим сквозь зубы. – Будет второй тур.

– Неважно, неважно... – проговорил Эраст Бонифатьевич нетерпеливо. – Мы не формалисты. И вы прекрасно понимаете, что нам от вас надо. Будет Интеллигент в губернаторах – будут вам еще двадцать тысяч. Не будет Интеллигента – у вас возникнут, наоборот, большие неприятности. Теперь вы имеете некоторое представление, какие именно это будут неприятности.

Вадим молчал, прижав к груди правую больную руку левой здоровой. Его все еще трясло. Он больше не плакал, но по виду его совершенно нельзя было понять, в уме ли он или в болезненном ступоре – согнувшийся в дурацком складном кресле трясущийся потный бледный человек. Эраст Бонифатьевич поднялся.

– Все. Вы предупреждены. Счетчик пошел. Начинайте работать. У вас не так уж много времени, чтобы повернуть вашу газовую трубу большого диаметра: всего-то каких-нибудь пять месяцев, даже меньше. Как известно, – он поучающе поднял длинный бледный палец, – даже малое усилие может сдвинуть гору, если в распоряжении имеется достаточно времени. Так что приступайте-ка лучше прямо сейчас...

– Если нет трения... – прошептал Вадим, не глядя на него.

– Что? А, да. Конечно. Но это уж ваши проблемы. Засим желаю здравствовать. Будьте здоровы.

Он повернулся и пошел было, но вновь остановился:

– На случай, если вы решите бежать в Америку или там вообще геройствовать – у вас есть мама, и мы точно знаем, что вы ее очень любите... – лицо его брезгливо дрогнуло. – Терпеть не могу такого вот низкопробного шантажа, но ведь с вами иначе никак нельзя, с поганцами... – Он снова было двинулся уходить и снова задержался. – В качестве ответной любезности за аванс, – сказал он, приятно улыбаясь. – Не подскажете, кого нынче поставят на ФСБ?

– Нет, – проговорил Вадим. – Не подскажу.

– Почему так? Обиделись? Зря. Ничего ведь личного: дело, специфический такой бизнес, и боле ничего.

– Понимаю, – сказал Вадим глядя ему в лицо. – Ценю, – говорить ему было трудно, и он произносил слова с особой старательностью, как человек, который сам себя не слышит. – Однако, любезность оказать не способен. Я знаю, чего хотят миллионы, но я представления не имею, чего хочет дюжина начальников.

– Ах вот так, оказывается? Ну да. Естественно. Тогда – всего наилучшего. Желаю успехов.

И он пошел прочь, больше уже не оборачиваясь, помахивая черной тросточкой-указкой – элегантный, прямой, весь в сером, уверенный, надежно защищенный, дьявольски довольный собой. Мелкий Лепя уже поспешал следом, не прощаясь, на ходу засовывая в карман свои ореховые щипчики – такой маленький, и такой неприятный!.. А вот Кешик задержался. Поначалу он сделал несколько шагов вдогонку начальству, но едва Эраст Бонифатьевич скрылся за кухонной палаткой, он остановился, повернул к Вадиму рыжее лицо свое, вдруг исказившееся, как от внезапного налета зубной боли, и не размахиваясь, мягкой толстой лапой махнул Вадима по щеке так, что тот моментально повалился навзничь вместе с креслом и остался

лежать с белыми закатившимися глазами. Кешик несколько секунд смотрел на него, потом еще несколько – на узкий белый конверт, оставшийся на столе без присмотра, потом снова на Вадима.

– С-сука ссаная... – просипел он едва слышно, повернулся и, тяжело бухая толстыми ногами, поскакал догонять своих.

Некоторое время Вадим лежал как упал – на спине, нелепо растопырив ноги, раздавив собою сложившееся после падения кресло. Потом в глазах его появился цвет и смысл, он задышал и попытался повернуться набок, опираясь на локоть больной руки. Повернулся. Освободился от зацепившегося кресла. Пополз.

Встать он даже и не пытался. Полз на локтях и коленях, постанывая, задыхаясь, глядя только вперед – на два ведра с нарзаном, поставленные с утра под тент хозяйственной палатки.

Дополз. Сел кое-как и, оскалившись заранее, погрузил больную руку в ближайшее ведро.

– Ничто не остановит энерджайзер... – сказал он в пространство и обмяк, прислушиваясь к своей боли, к своему отчаянию, к опустошенности внутри себя и – с бессильной ненавистью – к мрачному бархатному взрыкиванию роскошного «джипа-чероки», неторопливо разворачивающегося где-то там, за палаткой, на бугристой дороге.

Лирическое отступление № 1 Отец Тимофея Евсеевича

«...Тимофей – странный человек. Он каким-то непонятным образом зациклен на своем отце. Широчайшее поле деятельности для упертого психоаналитика. Отец – то, отец – се. Лихость отца. Умелость отца. Многоумие его же. Ловкость...»

Образец лихости: одна тысяча девятьсот, примерно говоря, пятьдесят шестой год. Колхоз имени Антикайна (где-то на Карельском перешейке под Питером). Стройбат под командой, сами понимаете, отца разбирает амбар, сохранившийся еще с финских времен. Принципиальный спор между, сами понимаете, отцом и местным бригадиром: разберут солдаты амбар за один день или – ни в коем случае. Проигравший должен залезть на печную трубу и туда (при всех) «насерить» (что сказано, то сказано, не вырубишь топором). Так вот: не только за семь часов амбар разобрали, но еще, когда бригадир, глядя на высоченную (пять метров) печную трубу красного кирпича, принялся ныть, что у него, мол, в спину вступило, – сами понимаете, отец на эту трубу, «взлетев как орел, там как орел уселся и в нее насерил... извиняюсь за это выражение...» А было в те поры отцу, чтобы не соврать, уже сорок восемь и с хвостиком... Пример многоумия: «Человек есть животное двуногое, всегда алчущее, никогда не сытое...» (где он это вычитал – бог знает, но не сам же придумал?) И еще: «Самый упорный солдат, который обманутый. На правде солдата не воспитаешь, а воспитывать приходится, куда деваться, иначе они же тебе же на голову и сядут...»

Он (отец, сами понимаете) вообще любил вспоминать про войну. Но как-то странно. На этой его войне не стреляли и даже, кажется, не убивали. «...Солдаты прибегают: товарищ капитан, там в подвале вино – двенадцать бочонков! Я сразу же – так: два бочонка Бате, и быстро, быстро, в темпе вальса... Очень был Батя доволен, парабеллум подарил, трофейный, у какого-то полковника отобрали...» Видимо, он умел приспособиться, этот, сами понимаете, отец. «У нас был начальник контрразведки СМЕРШ майор Скиталец – зверюга и в глазах у него – смерть, так он у меня из ладони ел, как лошадь... Потому что надо уметь приспособиться, а это – наука!...» В одна тысяча девятьсот сорок пятом, уже в Восточной Пруссии, он, было такое дело, жил сразу и с мамашей – хозяйкой дома, и с ее дочкой. Можно сказать – в одной кровати. Причем – никакого насилия: сами предложились, что ж ему – отказываться?.. А осенью того же сорок пятого, уже в Манчжурии, они из орудийных амортизаторов выливали тормозную жидкость и на освободившееся место засовывали штуки шелка, чтобы на КПП не засекли... И так далее, абсолютно в том же духе.

Умер он в одна тысяча девятьсот семьдесят шестом: на зимней рыбалке, но уже весной, – поблизости от Кивгоды унесло его со льдиной вместе в открытые воды, и никто его больше никогда не видел...

«В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений». Не знаю, не уверен. Кстати, я вот вообще никогда не видел своего отца. Даже на фотографиях. Так может быть, оно и к лучшему?..»

Глава вторая. Декабрь. Второй понедельник Юрий Георгиевич Костомаров по прозвищу Полиграф Полиграфыч

Ночью разразилась оттепель, – потекло, закапало, застучало по железным карнизам. С внезапным грохотом обрушивались подтаявшие ледяные пробки, проваливаясь в многоэтажные жестяные колодцы водосточных труб. Сталось сыро и мерзко, в том числе и в доме. Всю ночь он ворочался, просыпаясь и снова с трудом засыпая, слушал сквозь тяжелую дрему, как Жанка торопливо и неразборчиво говорит кому-то нечто совсем вроде бы несвязное, но при этом, как ни странно, очень искреннее и беспримесно чистое, – точно ручеек журчит среди зелени. В результате выспаться не получилось: он поднялся в чертову рань, еще семи не было – с больной головой и злой как собака. А день, между прочим, предстоял тяжелый: три контакта, причем все время с разными объектами и при этом один контакт вообще – наружный.

Для начала, как и было условлено, за пятнадцать минут до девяти он пришел на угол Малой Бассейной и Люблинской (где на доме с незапамятных времен мелом было написано печатными буквами «ЗЮГАНОВ спаси россию»), купил, как было договорено, сливочный вафельный стаканчик и принялся неторопливо его поедать, читая – по собственной уже инициативе – вывешенную тут же газетку «Петропавловское время» за вчерашнее число. Ближайший фонарь располагался не так уж к нему и близко, так что в чертовой предутренней тьме читать было трудно, а вдобавок еще и неинтересно: что-то там такое насчет профессионального обучения, про ярмарку мехов, и еще какая-то предрождественская мутотень...

Зонтика он с собой, естественно, не брал: какие зонтики в декабре месяце? Однако без пяти девять начался дождь. Все, кто скопился к этому времени на углу, все эти жалкие ранние пташки-воробушки, дожидаящиеся кто – свидания, а кто – автобуса «четверки», одинаково нахохлились, съежились, скукожились, и лица у всех сделались одинаково несчастные и мокрые, словно бы от слез.

Без одной минуты девять (немец паршивый, педантичный) на углу образовался Работодатель – в обширном английском плаще до пят и с титаническим зонтом, тоже английского происхождения. Он занял позицию в шаге от Юрия, грамотно расположившись к нему спиной (мокрым блестящим горбом зонта), и стал дожидаться клиента, который, видимо, не был ни немцем, ни педантом, а потому опаздывал, как и полагается нормальному русскому человеку мужского пола, если свиданка не сулит ему ничего особенно хорошего или такого уж совсем плохого.

Не прошло, однако, и пяти минут, как выяснилось, что клиент еще вдобавок и не мужчина вовсе. Юрий отвлекся на статью о коррупции в органах милиции, а когда вновь вернулся к реальности, на Работодателя наседала статная, яркая особа в коричневом кожаном пальто и с огромными, красными, пушистыми волосами, красиво усеянными водяной пылью. В руках у нее был мощный оранжевый ридикюль, и говорила она хотя и шепотом, но необычайно напористо и энергично. Весь вид ее вызывал в памяти полузабытое ныне понятие «бой-баба», – равно как и любимую Работодателю по этому поводу формулу: «конь с яйцами».

Поскольку особа всячески старалась сохранить приватность, слышно ее – особенно сначала – было плохо. Но шепот ее был громоподобен, да и не умела она шептаться – она была из тех, кто провозглашает свое мнение во всеуслышание и на страх врагу. Резко и зычно. Поэтому Юрий довольно быстро оказался в курсе дела, тем более что Работодатель под напором коричневого пальто вынужден был все время пятиться (чтобы не оказаться растоптанным под копытами) и вскорости уперся своим мокрым зонтом в плечо Юрию, так что и тому тоже пришлось отступить-подвинуться, сохраняя, впрочем, дистанцию достаточной слышимости.

А обстоятельства дела сводились к тому, что клиента, оказывается, ночью сегодня схватил радикулит. Встал он это часов в пять по малой нужде, – тут его и скрючило, да так, что из сортира до дивана пришлось его, бедолагу, на руках нести («буквально!..»), и теперь он не способен передвигаться не то чтобы как люди, но даже и на костылях. (А костыли припасены у них в доме заранее, с незапамятных времен и именно для таких вот случаев.) Пришлось сделать даже инъекцию диклофенака, и теперь он спит. Так что не подумайте: ни о каком манкировании своими обязательствами речи не идет, а идет речь только лишь и исключительно о неблагоприятном сочетании обстоятельств и, можно сказать, о несчастном случае...

Ошеломленный (и полузатоптаный) Работодатель слабо и робко отбивался в том смысле, что ладно мол, чего уж теперь, да что вы, ей-богу, так беспокоитесь, ну нет и нет, ничего страшного, пусть поправляется, созвонимся, передавайте мои соболезнования, это ж надо ж, как не повезло, но страшного-то ничего не случилось, что вы так волнуетесь... И они пошли шептаться задавленными голосами уже по второму кругу.

Когда все это кончилось (яркая статная особа удалилась так же внезапно, как и налетела: сорвавшись с места, штурмом взяла подошедшую «четверку», затоптав по дороге какую-то зазевавшуюся старуху), Работодатель, не скрывая огромного своего облегчения, перевел дух и, поглядев небрежно вправо-влево, двинулся (походкой фланера) вверх по М. Бассейной в направлении станции метро. Выждав положенные по конспирации две минуты, Юрий двинулся за ним (походкой совслужащего, опаздывающего на работу). В подземном переходе они воссоединились.

– А почему, собственно, – шепотом? – спросил Юрий (вспомнив старый анекдот про генеральский автомобиль на правительственной трассе).

– Пива холодного после бани хватимши... – сипло и немедленно отвечив Работодатель, вспомнив, надо полагать, тот же самый анекдот. – Представления не имею, что он ей там наплел такого, что ее на конспирацию потянуло... А вообще-то странная какая-то история, должен тебе признаться. Радикулит, видите ли, у нас возникает в самый ответст...

И оборвав себя таким вот образом, буквально на полуслове, Работодатель замолчал, глубоко задумавшись. Юрий тоже попробовал обдумать происшедшее, но у него ничего интересного не получилось. Он никогда не отличался способностями к дедукции, индукции и ко всякой прочей формальной логике. Он обычно видел только суть вещей, совершенно при этом не понимая подоплеку. Ну, назначил свидание. Ну, схватил его ридикюль... Дело житейское. Прислал вместо себя бабу свою. Потому что неловко человеку показалось – просто взять и совсем не прийти... Ну и в чем, собственно, проблема?

Самому Юрию проблема виделась сейчас только одна и совсем другая. Работодатель скуп, как двадцать четыре Плюшкина. Заплатит он теперь за несостоявшийся сеанс или же уклонится? На вполне законных, между прочим, основаниях. «За что платить, если не за что платить?» И получалось (после применения дедукции и индукции), что двадцать гринов, в скобках – баксов, только что накрылись медным тазом – старым, дырявым и с прозеленью. И с длинной гладкой ручкой притом – для удобства накрывания... Он попытался вспомнить, сколько у него оставалось в последний раз на книжке, но вспомнить не сумел. Вспомнил только, что немного. То ли сто черно-зеленых, то ли двести.

Между тем они шли уже вдоль решетки Парка Свободы, и дождь становился всё сильнее и всё омерзительнее, а встречные-поперечные всё мокрее и чернее, – они все были словно выкарабкавшиеся из воды (из дымящейся полыни) утопленники. Они были на вид совсем неживые, в отличие от Работодателя, пусть даже и погруженного в размышления. На роденковского Мыслителя он, впрочем, отнюдь не походил. У него была густая, абсолютно седая шевелюра и постоянно красное, даже, пожалуй, малиновое лицо не то скандинавского шкипера, не то кадрового употребителя спиртных напитков.

– В такую погоду, – сказал Юрий, стирая щекочущую воду с лица, – хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Без зонтика.

– А кто же ей не велел зонтика брать, спрашивается, – тут же откликнулся Работодатель, не выходя, однако, из задумчивости.

– Кому – ей?

– Да собаке.

Юрий не нашелся, что на это сказать, и некоторое время они шли молча, огибая ажурную ограду Парка, чтобы попасть на автостоянку, где у Работодателя мокла под дождем машина, «нива», мрачная и грязная, словно тягач в разгар осеннего наступления. Они погрузились, и все окна в машине тотчас запотели до полной непрозрачности. Работодатель принялся их протирать грязноватым вафельным полотенцем, а Юрий сидел без какого-либо дела и думал, что в машине вот воняет кошками, сил нет, как воняет, хотя уже полгода, наверное, прошло с того страшного дня, когда они возили Работодателя Рыжика в ветеринарную поликлинику и Рыжик, непривычный к автомашинам, ополоумев со страху, обмочил вокруг себя все – сиденья, пол, а под занавес и самого Юрия, исполненного глубокого, но бессильного к нему сострадания.

– Я одного не понимаю, – объявил вдруг Работодатель, который к этому моменту уже протер наиболее важные стеклянные поверхности и теперь чистил от грязи отвратительно скрипящими «дворниками» ветровое стекло. – Я не понимаю, зачем надо было так затейливо и очевидно врать.

– А кто это тебе, бедненькому, врет? – спросил Юрий, тотчас профессионально настрожившись.

– Да бабелъ эта, красноволосая... Ну, сказала бы, что простудился, мол. Или что на службу срочно вызвали... А то – «радикулит», «костыли», «инъекция»... Какая там еще инъекция – от прострела?

Юрий посмотрел на него с подозрением. Проверяет, что ли? «Тестирует» (как он любит выражаться)? А ведь не похоже! Работодатель скуп, но справедлив. Призрак «хрустящего Джексона» вдруг снова забрезжил в пространстве возбужденного воображения.

– Она тебе не соврала ни слова, – сказал он по возможности веско.

– То есть? – Работодатель повернулся к нему всем телом и уставился едкими светло-зелеными глазами.

– То есть все, что было тебе сказано – все правда.

– Ручаешься?

– Ну.

– Точно?

– Ну! – сказал Юрий с напором и как бы для вящей убедительности решил тут же и вернуть: – Зря ты мне, что ли, деньги платишь!

Работодатель помотал малиновым лицом.

– Нет. Уж надеюсь, браток, что не зря... Но и удивляться тебе при этом – тоже не устаю. Ей-богу. Ладно, поехали.

И они поехали. Покатили, хрюкая двигателем, по черному, мокрому проспекту Героев Шипки, освещенному оранжевыми фонарями, сквозь безнадежный сеющий дождь пополам с туманом, опасно, с выездом на встречную полосу, обгоняя гигантские грузовики и бесконечной длины трейлеры дальнбойщиков, а потом повернули направо (по чистому «желтому» и из левого ряда) и сразу же нырнули в тоннель под площадью Свободы.

Оба молчали. Юрий молчал, находясь в состоянии голодного удовлетворения в предвкушении заработанной (в поте лица) двадцатки. А Работодатель молчал по обыкновению своему. Предстоял контакт, он не любил разговоры разговаривать перед контактом, даже перед самым

пустяковым, а сейчас, видимо, контакт предстоял сложный, и требовал он, видимо, полного сосредоточения внимания и внутренней нацеленности на объект.

Молча доехали до своей родной Елабужской, молча выгрузились, молча зашли в подъезд. Охранник Володя, сидевший за столиком у входа в АО «Интеллект», сделал им приветственно ручкой, – они молча и дружно ему кивнули. Поднялись по широкой старинной лестнице (некогда беломраморной, а теперь, после ремонта, – под мрамор) на второй этаж: Работодатель впереди, Юрий – следом, на две ступеньки ниже, со всей почтительностью, как и подобает наемному работнику. Перед дверью в офис задержались и наконец издали некий звук: Работодатель с неразборчивым шипеньем поправил снова сбившуюся на сторону, временную, от руки писанную (Юрием) табличку

ЧАСТНОЕ ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

«ПОИСК-СТЕЛЛС»

после чего вступили в приемную.

Здесь было светло и, слава богу, тепло. Секретарша Мириам Соломоновна говорила по телефону и, увидевши их, сделала строгие глаза и длинным черно-багровым ногтем уставилась в Работодателя.

– ...Да, он уже пришел, минуточку... – сказала она в трубку и, прикрыв микрофон ладонью, сообщила: – Это Кугушев. Очень недоволен, звонит сегодня второй раз.

Работодатель тотчас же прошел к себе в контору, а Юрий разделся и разместил мокрое пальто на вешалке.

– Кофе будете? – спросила его Мириам Соломоновна. Она уже была на подхвате – полная фигура ее выражала стремительную готовность сей же час обслужить: кофе, чай, рюмка бренди, сигаретка «винтер», распечатать файл, найти ссылку, сгоношить бутерброд, дозвониться до ремонтной службы, вызвать ментов, сделать инъекцию, заштопать дырку в кармане, вправить вывих – она все умела и никогда ни от чего не отказывалась. Она была – клад.

Ей было пятьдесят шесть лет, дети ее отирались не то в Израиле, не то в Штатах, муж пребывал в длительных бегах, она была свободна и скучала. Работодателю она приходилась дальней родственницей, очень дальней: он каждый раз запутывался, пытаясь определить степень родства – то ли тетка двоюродной сестры приемной матери, то ли еще что-то, еще даже более отдаленное.

– Спасибо, – сказал Юрий и тут же добавил, предвидя новый вопрос: – Спасибо, нет. У нас клиент сейчас, – объяснил он, хотя ничего объяснять не требовалось – Мириам Соломоновна не нуждалась ни в каких объяснениях. Она была вполне самодостаточна – эта белая рубенсовская женщина с антрацитовыми волосами Гекаты.

– Почту разбирать будете? – спросила она, протягивая ему желтокожую папочку с аккуратно завязанными тесемками.

– Пожалуй... – он принял папку, поискал, что бы такое ей сказать, гекатоволосой, приветливое, дружелюбное что-нибудь, теплое, – и сказал (вполне по-американски): – Прекрасно смотрите сегодня, Мириам Соломоновна!

Она улыбнулась блестящими губами.

– Это из-за дрянной погоды, – объяснила она. – Повышенная влажность мне идет, как вы могли уже не раз заметить.

Это была неправда (он почувствовал характерный «толчок в душу», как он это про себя называл, – у медиков же это называлось сердечной экстрасистолой), и улыбка у него в ответ на

ее неправду получилась фальшивая, хотя, казалось бы, ну какое ему дело до этой маленькой, бытовой, бескорыстной, исключительно для гладкости разговора, кривды?

– Пойду плодотворно трудиться, – сказал он, поспешно закругляясь. – Чего и вам от души желаю.

В конторе Работодатель все еще разговаривал по телефону. Он помещался в своем «кресле для руководителя» (сто пять долларов, включая доставку), – угольно-черном, с невероятно высокой спинкой и круглыми подлокотниками, – помещался, перекрутивши себя сложнейшим образом в некий узел из длинных подергивающихся конечностей и сделавшись похож не то на осьминога в черной паре, не то на клубок пресмыкающихся в состоянии так называемого склещивания, то есть занятых любовью. Юрий подумал (в который уже раз): да-а, увидь его сейчас случайный клиент, хрен бы он захотел нас нанять, – разве что для цирка-шапито.

– ...Главное! – втолковывал Работодатель в трубку специфическим своим, только для клиентов, бархатистым голосом. – Нет-нет, вот это и есть самое главнейшее! А все остальное – малосущественно, прах, небытие материи, вы уж мне поверьте...

Юрий не стал его слушать, а прошел прямо к своему рабочему месту, уселся, отложил в сторону желтую папку с почтой и принялся настраивать аппаратуру. Включил компьютер, проверил магнитофон, проверил сигнальную кнопку – все вроде бы было о'кей: магнитофон писал и считывал, кнопка нажималась легко и бесшумно, оставляя в пальце приятное ощущение «шарика от пинг-понга», и сигнальная лампочка на столе у босса срабатывала – красноватый блик ее можно было при специальном старании заметить на подошве Работодателя, находившейся сейчас примерно там, где в момент делового контакта должна была находиться Работодательева физиономия. Вообще говоря, это было неудачное решение – с сигнальной лампочкой. Клиент мог заметить этот отблеск и насторожиться, или удивиться, или даже заинтересоваться, и это было бы совершенно ни к чему. Но ничего другого они придумать не сумели, все другие способы сигнализации оказывались либо сложными, либо малонадежными, а опыт показал, что клиенту, как правило, не до того, чтобы следить за таинственными красноватыми отблесками на загадочном малиновом лице Великого Сыщика.

– Надо табличку на двери закрепить как следует, – распорядился Работодатель. Он уже повесил трубку и теперь распутывал себя, хрустя суставами. – Займись.

– Ладно, – сказал Юрий. – Сейчас?

– Как только, так сразу. А сейчас уже три минуты двенадцатого. Клиент на носу.

– Опоздает, – сказал Юрий уверенно. – Такие всегда опаздывают.

– Откуда ты знаешь? – спросил Работодатель с любопытством. – Ты ж его даже и не видел еще.

– По голосу. Такие всегда опаздывают.

– Какие?

– Ну... – Юрий затруднился. – Неуверенно-мямлистые. Ни шаткие, ни валкие...

– Слушай, может быть у тебя еще и такой талант имеет быть?

Юрий ответить не успел, потому что строго-казенный голос Мириам Соломоновны из селектора на столе объявил:

– Павел Петрович, здесь господин Епанчин. Ему назначено на одиннадцать.

Работодатель скорчил Юрию рожу, означающую что-то вроде «хрен у тебя, а не талант», и бархатно произнес в микрофон:

– Просите, пожалуйста.

Господин Епанчин (Тельман Иванович, 68 лет, вдовец, пенсионер бывшего союзного значения, бывший штатный чиновник Общества филателистов Российской Федерации, известный филателист, старинный и заслуженный консультант компетентных органов, проживающий по адресу... телефон... факс... без вредных привычек, без политических убеждений, состоит в

разводе, жена проживает в Москве, сын – астрофизик, живет отдельно, работает в ГАИШе... и тэ дэ, и тэ пэ, и пр.) оказался сереньким маленьким пыльным человечком с разрозненными золотыми зубами и с быстрыми мышинными глазками на морщинистом лице Акакия Акакиевича Башмачкина.

Вошел и поздоровался без всякого достоинства, быстро-быстро потирая озябшие сизые ручонки, подшмыгивая серым носиком (не граф де ля Фер, нет, совсем не граф, и даже не канцлер Сегье, а скорее уж господин Бонасье, но – заметно съезжившийся от старости и аскетического при советской власти образа жизни). Чинно присел в предложенное кресло. Скрытно, но внимательно огляделся и тотчас же затеял маленькую склоку насчет Юрия, присутствие коего показалось ему, естественно, не обязательным и даже излишним. Работодатель, естественно, придерживался по этому поводу мнения прямо противоположного. Произошел следующий разговор, во время которого Юрий нейтрально помалкивал, продолжая быстренько изучать досье клиента («фотография в полный рост с загадочным интимом», как любил выражаться относительно таких досье Работодатель).

– У меня, знаете ли, дело чрезвычайн-айно деликатное, чрезвычайно...

– Разумеется, дорогой Тельман Иванович! За другие мы ведь здесь и не беремся...

– Тельм`ан, – поправил его клиент, голосом раздраженным и даже капризным. – Меня зовут Тельм`ан Иванович, с вашего позволения.

– Прошу прощения. И в любом случае вы можете рассчитывать у нас на полную и абсолютную конфиденциальность.

– Да-да, это я понимаю... Фрол Кузьмич мне вас именно так и аттестовал...

– Ну, вот видите!

– И все-таки... Здесь случай совершенно особенный. Дело это настолько щекотливое... Мне придется называть звучные имена, очень даже звучные... А немцы, между прочим, знаете, как говорят: что знают двое, знает и свинья, хе-хе-хе, я извиняюсь. Двое!

– Совершенно с вами согласен, уважаемый Тельм`ан Иванович. И с немцами – тоже согласен. Но ведь сказал же понимающий человек: «Два – любимое число алкоголика». А в Писании так и совсем жестко сформулировано: где двое вас собралось, там и я среди вас. И соответственно, я предупреждаю, просто обязан предупредить, что вся наша беседа записывается.

– Ах, вот даже как! Но в этом случае я вынужден буду, к сожалению...

И оскорбленный в лучших своих ожиданиях господин Епанчин принялся демонстративно собираться покинуть сей негостеприимный кров – задвигался, изображая сдержанное дипломатическое возмущение, зашевелился лицом и всем телом, начал приподниматься над креслом, но никуда, разумеется, не ушел, и даже спорить перестал, а только уселся попрочнее и произнес с покорностью:

– Ну хорошо, ну раз так... Раз иначе нельзя...

– Нельзя, Тельман Иванович! – бархатно подхватил Работодатель. – Никак нельзя иначе. Ноблес, сами понимаете, оближ. На том стояли и стоять будем, а что касается гарантий, то они абсолютны – здесь у нас тоже ноблес неукоснительно оближ. Вы можете быть совершенно уверены: ни одно сказанное вами слово этих стен не покинет. Без вашего, разумеется, специального позволения.

Господин Епанчин произнесенными заверениями, видимо, удовлетворился. Он снова в двух-трех беспорядочных фразах подчеркнул чрезвычайную и особливую щепетильность предлагаемого дела, снова без особой связи с предметом, но с явным нажимом, напомнил о таинственном (для Юрия) Фроле Кузьмиче, рекомендовавшем ему Работодателя, как серьезного профессионала и в высшей степени порядочного человека, и только после этого, совершенно бессвязного и даже, пожалуй, бессюжетного вступления, принялся излагать наконец суть.

Суть эта (изложенная, напротив, отточенно гладкими, ясными, хорошо отредактированными и, может быть, даже заранее отрепетированными фразами) состояла в следующем.

Господин Епанчин, оказывается, был не просто видным коллекционером-филателистом, он был («доложу вам без ложной скромности») обладателем крупнейшей в СССР (он так и сказал – «в СССР») коллекции марок, включающей в себя выпуски всех без исключения стран мира, ограниченные, впрочем, одна тысяча девятьсот шестидесятым годом. Марки, выпущенные в мире после шестидесятого года нашего века, его почему-то не интересовали, но все, что было выпущено ДО ТОГО, составляло предмет его интереса и в значительной – «в очень значительной степени, что-нибудь порядка девяноста пяти процентов» – было в его замечательной коллекции представлено.

Среди многочисленного, прекрасной красоты, но, так сказать, «рядового материала», находится в его сокровищнице и некоторое количество «мировых раритетов», подлинных филателистических жемчужин, а правильнее сказать – бриллиантов чистейшей воды и неопикуемой ценности. Каждый из этих бриллиантов знаменит, известен по всему миру в количестве двух-трех, максимум десяти экземпляров, и когда – редко, крайне редко! – появляется подобный такой на аукционе, то уходит он к новому владельцу по цене в многие десятки и даже сотни тысяч долларов.

И вот один из этих бриллиантов, самый, может быть, драгоценный, у него несколько месяцев назад пропал, а правильнее сказать, был варварски похищен. И он догадывается, кто именно совершил это хищение. Более того, он (Тельман Иванович) догадывается, когда – в точности – это произошло и при каких конкретных обстоятельствах. Однако доказать что-либо у него (Тельмана Ивановича) никаких возможностей нет, есть только обоснованные подозрения, и задача, которую он хотел бы перед Работодателем поставить, как раз и состоит в том, чтобы в этой деликатнейшей ситуации найти хоть какой-нибудь реально приемлемый выход и, по возможности, восстановить попорченную справедливость, а именно: защитить законное право личной собственности, – пусть даже и без наказания преступника, буде таковое наказание окажется затруднительным...

Любопытно: начал он говорить по заранее заготовленному и говорил поначалу казенно, бесстрастно и осторожно, словно по минному полю шел на ощупь, но постепенно разгорячился, история этого отвратительного, низкого преступления, этой глубоко личной несправедливой обиды разбередила старые раны, он сделался страстен и зол. «Как он только посмел, этот подлый вор? Как посмел он затронуть самое святое?..»

...Он, знаете ли, английские колонии собирает, а я – весь мир. Так вот МОИ английские колонии лучше его в два раза, и это его озлобляет, это его выводит из себя совершенно... Как же так: ведь он академик, миллионер, а я кто? Да никто. А моя коллекция в два раза лучше. Он этого уже не способен переносить, и он на все готов, чтобы меня опустить – не так, так иначе... Сначала слухи обо мне унижительные распространял, будто я в НКВД... в КГБ... Неважно, гнусности всякие. Интриги строил, чтобы меня из руководства Общества исключить. А теперь вот – пожалуйста! – докатился и до уголовщины...

...Это был душный августовский вечер, гроза надвигалась, было жарко, потно, Академик – грузный, одышливый мужчина – поминутно утирался роскошным шелковым платком, они пили чай за обеденным столом и говорили «о редких вариантах ретуши ранних марок Маврикия». Они были одни в квартире, Полина Константиновна накрыла им чай и ушла до понедельника (а происходило все в пятницу, часов в восемь-девять вечера). Окна были открыты – от духоты, – толку от этого было немного, но это – важное обстоятельство, потому что все началось, видимо, именно с предгрозового порыва ветра: ветер вдруг ворвался в комнату, ахнули с дребезгом тут же захлопнувшиеся створки окна, полетели со стола бумажные салфетки, он кинулся их (зачем-то) ловить, зацепил стакан, чайник, вазочку с конфетами, еще что-то, все

полетело на скатерть, на пол, Академик с неприличным смехом (хотя чего тут, спрашивается, было смешного?) выскочил из кресла, спасая штаны от разлившегося чая...

...Нет, марок, разумеется, на чайном столе не было. Все альбомы и кляссеры оставались там, где они их рассматривали, – на отдельном столике в углу, где шкафы с коллекцией. Но вот что странно: почему-то и некоторые кляссеры тоже оказались на полу, хотя до них от места чаепития было не меньше трех метров, а скорее даже больше. Он не может толком объяснить, как это произошло. Он и сам этого не понимает. Словно затмение какое-то с ним внезапно тогда произошло. Только что вот сидел он за чайным столом и ловил улетающие салфетки, и вдруг, без всякого перехода, сидит уже на диване у дальней стены, Академик с лязгом орудует щеколдами, запирая окна, а кляссеры – лежат на полу, четыре штуки, и несколько марок в клеммташах из них выскочило и тут же рядом пребывает – на полу, рядом с журнальным столиком и под самим столиком.

...Нет, тогда он этому никакого значения не придал – испугался только, не испортились ли выпавшие марки. Но все оказалось в порядке, марки были целы и невредимы, они с Академиком тут же собрали их и положили в соответствующие кляссеры на нужное место... Нет, он уже не помнит, что это были за марки. Кажется, Британская Центральная Африка. Да это неважно – рядовые какие-то, по сто-двести «михелей», ничего особенного, поэтому и не запомнились.

...Вообще-то, по правде говоря, многие обстоятельства тогдашних событий ему не запомнились, и весь тот вечер в памяти до сих пор как бы затянут этакой смутной дымкой, и по поводу каких-то простейших вещей остались и остаются неясные недоумения. Например: был телефонный звонок сразу после аварийного чаепития, или ему это только кажется теперь? Вроде бы все-таки был. А может быть, и не было... Разогревали они с Академиком чайник по второму разу, или он, Академик, тут же после инцидента и удалился, сославшись на позднее время? Не вспоминается. Провал. Неясность. Вряд ли это важно для дела, но факт тот, что в памяти все это смотрится до странности нерезко, словно в расфокусированный бинокль.

...Он грязный, грязный тип! У него внуки в институте уже учатся, а он все за девками гоняется, старый козел. И язык у него грязный, что ни слово – похабщина. Можете себе представить – вдруг ни с того ни с сего сообщает мне: он у врача, видите ли, был, анализы какие-то делал, так у него все сперматозоиды, видите ли, оказались живые! А?! Какое мне, спрашивается, дело до его сперматозоидов? Грязный он, грязный, и все мысли у него грязные. И вор.

...Я вам сейчас скажу откровенно, что я сам об этом думаю: он меня чем-то отравил. Он же химик. Подсыпал мне в чай какую-то дрянь, и пока я лежал в беспомощности, взял из коллекции, что ему захотелось. А кляссеры – на пол бросил: как будто они от ветра туда свалились... Не зря же про него ходит дурная слава, что он гипнотизер: является к человеку, якобы честно купить у него коллекцию, наведет на него дурь, тот и отдает ему за бесценок. Потом схватится, бедняга, – да только поздно, и ничего уже никому не докажешь... Тем более: академик же, лауреат! «Как вы можете даже подумать о нем такое?! Ай-яй-яй!» А вот и не «ай-яй-яй». Очень даже не «ай-яй-яй»...

Юрий слушал все эти сбивчивые жалобы пополам с инвективами почти отстраненно – он был близок к обмороку. Сердце билось с переборами и уже даже не билось теперь, а лишь судорожно вздрагивало, как лошадиная шкура под ударами вожжей. Он отчаянно боролся с наползающей дурнотой, его мучала одышка, а в голове крутилась, как застрявшая пластинка, единственная фраза из какого-то романа: «И вот тут-то я и понял, за что мне платят деньги...» Пару раз он уже поймал на себе косой, сердито-обеспокоенный взгляд Работодателя, но отвечал на эти взгляды только раздраженным насупливанием бровей, а также злобными гримасами в смысле: «Да пошел ты! Занимайся своим делом».

Такой сумасшедшей концентрации вранья давно ему встречать не приходилось, а может быть, не встречал он ничего подобного и вообще никогда. Серый-пыльный Тельман Иванович

врал буквально через слово, почти поминутно, причем без всякого видимого смысла и сколько-нибудь разумной усматриваемой цели. Каждая его очередная лживость хлестала несчастного Юрия вожжой по сердечной мышце, поперек обоих желудочков и по коронарным сосудам заодно. Он уже почти перестал улавливать смысл произносимых Тельманом Ивановичем лживых слов и молил бога только об одном – не обвалиться бы сейчас всем телом на стол, прямо на всю эту свою регистрирующую и контролирующую аппаратуру, а в особенности, – на Главную Красную Кнопку, об которую он уже указательный палец намозолил непрерывно нажимать.

...Вы меня спрашиваете, почему я ничего не предпринял. (Удар по коронарам: вранье – ничего подобного никто у него не спрашивал.) А что? Что мне было делать? Я, между прочим, еще как предпринимал! Какие только варианты не перепробовал! Лично к нему ходил, – и знал же, что пустой это номер, но пошел! Как вам не стыдно, говорю! (Вранье.) В лоб его спрашиваю: «Где же ваша совесть, господин хороший?» (Вранье, ложь, ложь.) «Ведь вы же заслуженный, говорю, пожилой человек! О Боге пора уже подумать!» (Врет, врет, серый крыс – никуда он не ходил, никого в лоб ни о чем не спрашивал...)

– И что же он вам на это ответил? – Работодатель наконец включился (и как всегда – в самый неожиданный момент).

– Кто?

– Академик. Что он вам ответил на поставленные в лоб прямые вопросы?

– Ничего. А что он мог ответить? Молчал себе. Улыбался только своими искусственными челюстями.

– Не возражал? Не возмущался? Не угрожал?

Тут Тельман Иванович словно бы затормозил. Пожевал серыми губами. Вытащил клетчатый платок, вытер лоб, губы, руки почему-то вытер – ладони, сначала левую, потом правую.

– Плохо вы его знаете, – проговорил он наконец.

– Я его вовсе не знаю, – возразил Работодатель. – Кстати, как, вы сказали, его фамилия?

– А я разве сказал? – встрепенулся Тельман Иванович. У него даже остроконечные ушки встали торчком.

– А разве не сказали? Академик...академик... Вышеградский, кажется?

Тельман Иванович ухмыльнулся только, с некоторой даже глумливостью.

– Нет, – сказал он почти высокомерно. – Не Вышеградский. Отнюдь.

– А какой?

– Я не хотел бы называть имен, – произнес Тельман Иванович еще более высокомерно, – пока мне не станет ясно, готовы ли вы взяться за мое дело и что именно намерены предпринять.

Однако Работодателя осадить и тем более нахрапом взять было невозможно. Никому еще (на памяти Юрия) не удавалось взять Работодателя нахрапом. Он отвечал немедленно и с наименьшим высокомерием.

– Не зная имен, – сказал он, – я совершенно не могу объяснить вам, что я намерен предпринять, и вообще не могу даже решить, готов ли я взяться за ваше дело.

Тельман Иванович молчал, наверное, целый час, а потом шмыгнул носом и сказал жалобно:

– Я ведь с ним и сам без малого до уголовщины докатился. Вы не поверите. Серьезно ведь раздумывал подослать лихих людей, чтобы отобрали у него... или хотя бы, – лицо его исказилось и сделалось окончательно неприятным, – хотя бы уши ему нарвали... чайник начистили хотя бы... И главное – недорого ведь. Пустяки какие-то. Слава Богу, Фрол Кузьмич отговорил, спасибо ему, а то вляпался бы я в уголовщину, вовек бы не расхлебался...

– И сколько же с вас запрашивали?

– Да пустяки. Пятьсот баксов.

– Хм. Действительно, недорого. С кем договаривались?

Тельман Иванович немедленно ошетинился.

– А какая вам разница? Зачем это вам?

– А затем, – произнес Работодатель наставительно, – что я должен знать всех, без исключения, кто в эту историю посвящен. Без всякого исключения!

– Да никто в эту историю не посвящен...

– Ну как же – «никто». Фрол Кузьмич – раз...

– Да ничего подобного! – запротестовал Тельман Иванович и даже – для убедительности – привстал над креслом своим, застывши в позе напряженной и вовсе не изящной. – Я ему только в самых общих чертах... без имен... без никаких деталей... «Деликатнейшее дело. Затронуты важные персоны». И все. Что вы?! Я же все понимаю!

– Это хорошо. А как все-таки насчет бандюги вашего, ценой в полштуки баксов?

– Да я вообще ни с каким бандюгами не общался! Что вы! Просто есть знакомый мент один. Ему я вообще ничего не сказал, сказал только что надо бы одного тут проучить...

– Академика.

– Да нет же! Просто одного типа. И все.

Это была правда. Во всяком случае здесь не было ни грана прямого вранья, – и на том тебе спасибо, серый пыльный человечек, подумал Юрий, вконец замученный сердечными экс-трасистами. Работодатель выждал секунду (не загорится ли красный) и продолжил:

– И в Обществе вы никому об этом не рассказывали?

– Еще чего! Конечно, нет.

– Друзьям?

– Нет у меня друзей. Таких, чтобы.

– Знакомым филателистам?

– Господи, нет, конечно.

– Сыну? Жен`е?

– Да перестаньте. Какое им до меня дело? – вздохнул Тельман Иванович. – У них свои заморочки.

– Но таким образом, получается, что об этой прискорбной истории не знает никто?

– Да. Именно так. Что я вам и докладывал. Никто.

– А почему, собственно? – спросил Работодатель вроде бы небрежно, но так, что Тельман Иванович сразу же напрягся и даже вцепился сизыми ручонками в подлокотники.

– Н-ну... как – «почему»? А зачем?

– Я не знаю – зачем, – Работодатель пожал плечами. – Я просто хотел бы уяснить себе. Для будущего. Как же это получается? У вас украли ценнейшую марку. Вы знаете кто. Вы догадываетесь, каким образом. Проходит четыре месяца, и теперь оказывается: никаких серьезных мер вы не предприняли... никому о преступлении не сообщили... даже в милицию не обратились. Почему?

Это был интересный вопрос. Тельман Иванович не стал на него отвечать. Точнее – ответил вопросом.

– Я не понимаю, вы беретесь за мое дело? Или нет?

– Пока еще не знаю, – ответил Работодатель. – Пока еще я думаю, размышляю... А какую, собственно, марку мы будем разыскивать?

Тельман Иванович весь сморщился и моментально сделался похож на старую картошку.

– Слушайте. Вам так уж обязательно надо это знать?

– Мину-уточку! – произнес Работодатель бархатным голосом. – А вы сами взяли бы разыскивать украденный предмет, не зная, что это за предмет?

– Да, да, конечно... – мямлил Тельман Иванович. Ему очень не хотелось называть украденный предмет. Ему хотелось как-нибудь обойтись без этого. – А разве нельзя просто указать: редкая, ценная марка? Очень редкая, очень ценная... Уникальная. А?

– Где «указать»?

– Н-ну, я не знаю... Как-нибудь так... Без названия. Описательно... Все равно же это – только для специалистов. Для профессионалов, так сказать... А так – зачем?.. Кому?..

Он говорил все тише и тише, а потом замолчал. Бормотать и дальше маловнятную чепуху было ему уже неприлично, называть предмет – не хотелось, а как со всем этим клубком противоречий быть, он не знал – сидел молча, склонив головушку на грудь и рассматривал сложенные на коленках ладошки.

– «Британская Гвиана»? – вдруг спросил, а вернее, негромко произнес Работодатель.

Тельман Иванович встрепенулся и сразу сделался бледен.

– Откуда вы знаете? – прошептал он спертым голосом.

Работодатель пожал плечами.

– Какая вам разница? Знаю. Догадался.

Некоторое время они смотрели друг на друга, не отводя взглядов. Работодатель – уверенно, с горделивым смирением ученика, одержавшего замечательную, но неожиданную победу над господином учителем. А Тельман Иванович – испуганно, даже затравленно, не понимая, поражаясь, медленно оправляясь от нанесенного удара и в ожидании новых ударов... Но он тоже был не из слабых, наш Тельман Иванович, его тоже было так просто ни нахрапом не взять, ни тем более на пушку. Бледность его со временем прекратилась, исчезло выражение страха, да и все его состояние грогги пошло выветриваться. И вдруг – понимание пополам с легким презрением проступило на его лице.

– Да ничего вы не знаете, – произнес он облегченно и уже с пренебрежением. – Слышали звон да не поняли, откуда он. Вы же про одноцентовик красный думаете – нет, батенька, не туда попали! Эка хватил – одноцентовик! А впрочем, откуда вам знать. В детстве, небось, марки собирали?

– В детстве, – признался Работодатель. Теперь пришла его очередь сидеть, сокрушенно повесив голову и стыдливо отведя глаза. Ученик был поставлен на то место, где ему впредь и надлежало пребывать в состоянии внимания и прилежания.

Тельман же Иванович (господин учитель), сразу же сделавшись добрее и мягче после одержанной и очевидной победы, позволил себе разумную снисходительность и тут же рассказал, ЧТО это на самом деле была за марка. Впрочем, Юрий, от филателии бесконечно далекий, понял из снисходительных объяснений только самую разве что суть. Называлась марка «Британская Гвиана, первый номер». Как бы расшифровывая это лошадиное (из области рысистых испытаний) название, Тельман Иванович описал ее также, как «два цента на розовой бумаге». Таких марок на свете было не так уж и мало – целых десять штук, но все они, оказывается, были «гашеные», «прошедшие почту», а Тельман-Ивановичева марка была «чистая», «правда, без клея», и это обстоятельство («чистота» ее, а не отсутствие клея) являлось решающим: мало того, что она переходила в силу это обстоятельства в категорию «уникум», так вдобавок еще никто, оказывается, не знал о существовании таковой, – никто в мире, ни один живой человек: она была великой и сладкой тайной Тельман Ивановича, символом его абсолютного над всеми превосходства и, похоже, осью всего его существования среди людей и обстоятельств...

Излагая все это, он даже серым перестал быть – он сделался розовым, звонким пионером-комсомольцем, он помолодел лет на тридцать-сорок. Он сделался счастлив. Он явно забыл, что марки этой у него больше нет. Он вообще все забыл, глаза у него теперь стали большие, блестящие и радостные, а ладошки его так и летали, как это и полагалось у вдохновенного поэта или трибуна. И все, что он говорил, было правдой.

– А откуда она у вас? – спросил Работодатель, и Тельман Иванович тотчас же замолчал, словно ему перехватили горло.

Работодатель терпеливо ждал. В комнате было так тихо, что Юрий, кажется даже, слышал слабое шипение магнитофонной ленты в кассетнике.

– Зачем? Ну зачем вам это знать? – прошептал наконец Тельман Иванович – да с такой мукой в голосе, что Работодатель, похоже, несколько смягчился.

– Можно ведь без деталей, – проговорил он сочувствующе. – Как, что, когда – это не важно. Я хотел бы только знать, кто был последним владельцем? До вас?

– Не знаю, – сказал (выдавил из себя с очевидным трудом) Тельман Иванович.
(Правда, констатировал Юрий – не без удивления.)

– Как так? – сказал Работодатель. Он тоже был удивлен. – Как это может быть? Чтобы вы этого не знали?

Тельман Иванович молчал. Он опять молчал – снова серый, крысоватый, унылый, и снова рассматривал сизые свои ручонки, смиренно сложенные на коленях.

– Ну, хорошо, – сказал Работодатель. – Ладно. Господь с вами. Не хотите – не надо. Обойдемся. А как все-таки зовут вашего академика? Да не упрямытесь вы, в самом деле! Вы ведь уже все про него рассказали: академик, химик, марки собирает, крупный спец по английским колониям... Петербуржец. Неужели вы полагаете, что мы его теперь не вычислим? Да вычислим, конечно же, только лишний шум поднимем своими расспросами. Подумайте сами: ну зачем нам с вами лишний шум?

Тельман Иванович, видимо, был этой энергичной речью вполне убежден, но повел себя тем не менее несколько неожиданно. Он вдруг поднялся из кресла, наклонился над столом Работодателя и сказав негромко: «Где тут у вас можно?..» принялся ему что-то царапать на четвертушке листка.

– Только не надо «ля-ля-ля». Я вам ничего не говорил! – объявил он не без торжественности и демонстративно двинул листок Работодателю под нос. Потом вернулся в кресло, посмотрел почему-то на Юрия (впервые за все это время, – с вызовом посмотрел, горделиво, «знай наших») и повторил: – Не надо «ля-ля-ля». Не сказано – значит не сделано!

Некоторое время Работодатель разглядывал его с видом, пожалуй, слегка ошеломленным, взял листок, прочитал написанное, удовлетворенно кивнул, а затем извлек из нагрудного карманчика тускло блеснувший «ронсон», выщелкнул длинный синеватый огонек, поднес к нему листочек и, подождав, пока огонь доберется до пальцев, бросил обугленные останки в медную пепельницу.

– Так? – спросил он у Тельмана Ивановича.

– Можно и так, – согласился Тельман Иванович как бы равнодушно, но на самом деле – очень довольный.

– Только так! – произнес Работодатель строго и принялся размешивать и растаптывать пепел огрызком карандаша.

– У меня сложилось несколько противоречивое впечатление о вашем деле, – сказал он. – Мне нужно подумать, прежде чем я приму окончательное решение. Поспешность здесь не нужна и даже вредна. Мой совет: никаких самостоятельных действий. И вообще никаких действий. Сейчас внесете моему секретарю двести у. е. – за консультацию. В течение двух дней я вам позвоню, мы встретимся снова и, может быть, заключим договор. Об условиях договора – тогда же, но учтите заранее: мы фирма дорогая.

Тельман Иванович печально кивал. Он был со всем согласен. Он, кажется, вообще больше не слушал, что ему говорят. И едва только Работодатель сделал паузу, – значительную паузу перед тем, как сформулировать самое деликатное, – Тельман Иванович вдруг сообщил:

– У меня отец был филателистом...

Работодатель вежливо замолчал, ожидая продолжения, но продолжения все не было и не было, минута прошла (это очень долго, когда в разговоре возникает минутная пауза, это мучительно долго, – безнадежно глухая пропасть немого времени), потом пошла другая, и тут наконец Тельмана Ивановича прорвало.

... У него отец был филателистом. Не знаменитым каким-нибудь, нет, денег вечно не хватало, но зато самоотверженным и знающим, Тельман Иванович многому у него научился и вообще пошел по стопам. Так вот, отец привез из Германии, после войны, в качестве трофея, некоторое количество марок – время тогда было такое, многие целыми чемоданами привозили, и некоторые, ныне замечательные, коллекции начали произрастание свое именно тогда, из этих самых чемоданов. У отца же никаких чемоданов в помине не было – так, несколько альбомов и обувная коробка, набитая марками разных стран и времен. И вот много лет спустя, уже отца в живых не было, уже сам Тельман Иванович выбился в люди и стал известен в кругах специалистов, попалась ему под руки эта коробка, и решил он разобраться, что там за материал и не найдется ли там что-нибудь интересненькое.

... В коробке среди прочего обнаружился желтый, плотный конверт из-под фотобумаги «кодак», а в конверте этом – несколько десятков самых разных марок, в том числе и на обрывках конвертов. Вообще говоря, «марки на вырезке» (то есть аккуратно вырезанные из конверта таким образом, чтобы остались тут же при марке почтовые штемпеля, служебные наклейки и прочая специфическая мутотень), – такие марки ценятся особо, но здесь, в желтом конверте, наличествовали только какие-то драные обрывки конвертов и открыток, грязноватые, иногда даже замасленные и совершенно неколлекционные на вид. Он собрал их в общую кучу и положил в кювету с теплой водой, чтобы отмокли от бумаги сами марки – в основном «рядовые немецкие княжества и кое-какая небезынтересная Швейцария». Каково же было его изумление, когда полчаса спустя обнаружил он в остывшей воде – среди обрывков размокшей бумаги и отклеившихся свободно плавающих рядовых марок – это ослепительное чудо на розовой бумаге, Британскую эту Гвиану номер один, в великолепном состоянии, прекрасно обрезанную, «экземпляр кабинет» или даже «люкс-сюперб», чистую, негашеную, но, к сожалению, правда, без клея. Не исключено, между прочим, что изначально она была даже с клеем, как и положено быть чистой почтовой марке, да в теплой воде клей безвозвратно растворился... но возможно, что клея у нее не было никогда, как это встречается частенько у марок, выпускаемых в жарких тропических странах...

... Теперь можно только гадать, кто был предыдущим владельцем этого уникала. Ясно только, что был это человек осторожный и предусмотрительный, равно как и человек грамотный и хорошо понимающий, какое сокровище находится у него в руках. И в ожидании нелегких времен и дурных перемен он принял надлежащие меры – не без остроумия спрятал свою драгоценность: положил на небрежный обрывок старого конверта и сверху аккуратненько наклеил какую-нибудь обыкновеннейшую Баварию, скорее всего, двадцатых годов выпуска – чтобы размером была побольше, а привлекательностью – поменьше... Простейший расчет: если кто-нибудь и покусится на коллекцию, то рядом с красивыми золочеными «альбомами Шаубек» кого заинтересует и соблазнит ботиночная коробка, набитая второстепенными марками, и тем более в этой коробке – невзрачный желтый пакет из-под фотобумаги «кодак»?..

Рассказывая всю эту авантюрную, в манере Луи Буссенара, историю, Тельман Иванович был проникновенен и откровенен настолько, насколько это вообще в силах человеческих. И вся его история, как это ни удивительно, была правдой, на редкость чистой беспримесной правдой. За одним, впрочем, но довольно существенным, исключением: не было желтого конверта в коробке из-под обуви. Не было его там. Он попал к Тельману Ивановичу каким-то другим образом. Совсем другим. И Тельман Иванович почему-то не пожелал рассказать, каким именно.

Лирическое отступление № 2

Отец Тельмана Ивановича

В большом и даже огромном кабинете (где все было огромное – кресла, электрический свет, стол, окна, занавешенные титаническими портьерами, портрет Ленина во всю стену) – находились два маленькие человечка, похожие чем-то друг на друга: оба были серые, с редкими серыми волосами, зачесанными назад, со щеками, навсегда изуродованными оспой, только один из них спокойно стоял у стола, и лицо его было неподвижно, а другой – сидел тут же, у этого же стола, в гигантском кресле, и весь, вместе с лицом, мучительно подергивался, словно кресло обжигало ему задницу. То ли встать ему хотелось руки по швам, то ли уменьшиться до нуля, вообще исчезнуть и оказаться в другом каком-нибудь месте, и мысли его так же лихорадочно и болезненно подергивались, как он сам. Он, разумеется, вглухую молчал и вообще старался не дышать. И молчал (долго, непереносимо долго молчал) второй человек – смотрел в простенок между окнами, в никуда, словно догадывался, что, посмотрев на человечка в кресле, может нечаянно убить его этим взглядом. Потом он сказал, тихо и почти неразборчиво:

– Есть мнение, что надо сделать хороший подарок нашему другу и союзнику господину Рузвельту. Мне сообщили, что он филателист. Занимается филателией. Это правда, товарищ Епанчин?

– Так точно, товарищ Сталин, – человечек в кресле поперхнулся и судорожно откашлялся. – Извините... И говорят, что – страстный филателист!

Наступила новая долгая, изнуряюще долгая, мучительная пауза.

– А что это означает – «филателия»?

– Собираение почтовых марок, товарищ Сталин. С целью их коллекционирования, а также...

– Это я знаю. Я спрашиваю: что само это слово означает – «фи-ла-те-лия»? На каком языке?

– Это греческий, товарищ Сталин. А перевод... как бы это точнее выразится... Буквально?

– Конечно. Лучше всего буквально.

– «Нелюбовь к почтовой оплате»... Наверное, так будет точнее всего.

– Как вы сказали?

– «Нелюбовь к почтовой оплате», товарищ Сталин. А еще точнее: «любовь к неуплате почтового сбора»...

Стоявший человек сказал с удивлением:

– Глупость какая-то... – он помолчал и добавил: – И вообще занятие глупое. Взрослый, умный человек, политик, а занимается глупостями. – Он снова помолчал. – А может быть, он никакой не умный? Может быть, все только считают, что он умный, а на самом деле – глупец?

И он засмеялся – тихо, весело и неожиданно, словно засмеялся вдруг известный всему миру портрет. И так же неожиданно снова помрачнел.

– А как вы думаете, советские марки у него в коллекции есть?

– Думаю, что есть, товарищ Сталин. Думаю, что у него очень хорошая коллекция советских марок.

– Все советские марки у него есть?

– Думаю, что нет, товарищ Сталин. Думаю, всех советских марок ни у кого на свете нет.

– Почему?

– Существуют редкости, которых всего пять-шесть штук известно, и даже меньше.

– Это хорошо. Это очень хорошо. Задача ваша определяется. Надо собрать полную коллекцию советских марок, и мы преподнесем ее господину Рузвельту. Как вы думаете, он будет доволен?

– Он будет в восторге, товарищ Сталин. Но это невозможно.

– Почему?

– Невозможно собрать полную коллекцию...

– Считайте, что это партийное поручение, товарищ Епанчин. Надо собрать. Срок – один месяц. Мы думаем, этого будет достаточно. Обратитесь к товарищу Берия. Он в курсе и поможет.

– Слушаюсь, товарищ Сталин, – сказал маленький человечек Епанчин, обмирая от ужаса.

...Но независимо от этого ужаса, мысль его уже заработала привычно. Консульский полтинник придется отдать свой, подумал он озабоченно. И ошибку цвета «70 руб.» без зубцов... Где взять перевертку Леваневского с маленьким «ф»?.. Она была у Гурвиц-Когана, он ее продал – кому? Должен знать. Знает. И скажет. Не мне скажет, органам скажет... Товарищу Берия скажет, подумал он с внезапным ожесточением, удивившим его самого: он почувствовал себя сильным и большим, как это бывало с ним иногда во сне...

Вот так, или примерно так, состоялся его единственный и последний в жизни звездный час. Так, или примерно так, он рассказывал об этом сыну своему – маленькому, плаксивому, капризному, но умненькому Тельману Ивановичу. Но он ничего не рассказывал о том, что пережил, пока везли его в Кремль на огромной черной машине. И как героически сражался он в огромном кабинете с приступами медвежьей болезни. И как слег на другой день с сердечным приступом – от нервного перенапряжения.

«В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений».

...И уж конечно, ничего не рассказывал он о том, как, сидя на специальной квартире, четыре страшные недели лихорадочно составлял подарочную коллекцию для чертова американца из тех многих коллекций, которые приносил ему неприятный человек в штатском – иногда молчаливый, иногда почему-то болезненно разговорчивый, иногда сдержанный, а завтра вдруг развязный, вчера красивый (кровь с молоком), а сегодня никакой, – но всегда крайне неприятный в общении, и глаза у него всегда были волчьи, несытые, нацеленные и как бы приценивающиеся.

...Было, было что рассказать! Как в промерзшем насквозь, до последнего винтика, самолете летел вынутый среди ночи из постели неизвестно куда – оказалось, в Ленинград, на улицу Попова, в Музей Связи, где замерзала в ледяном, промерзшем до подвала, некогда роскошном доме Государственная коллекция – бесценное филателистическое сокровище под присмотром полумертвого хранителя, не похожего уже на человека, а скорее на черную мумию, запеленутую в три шубы и в извозчицкий тулуп...

...Как руки у него тряслись и делалось нехорошо, когда в принесенной штатским человеком очередной коллекции он узнавал коллекцию знакомую, сто раз виденную раньше, вылизанную до блеска его завистливыми глазами... и хозяин, естественно, вспоминался сразу же, но не как живой человек, а как уже покойник, хотя он догадывался, конечно, что никого они не убивают – просто конфискуют для нужд государства и соответствующую расписку дают... ну, сажают – в крайнем случае... в самом крайнем... Ему не хотелось об этом думать.

...Как потерял он однажды сознание, когда вместо привычного волка в штатском явился вдруг на спецквартиру какой-то чин в мундире и заорал с порога: «Саботируешь, сука, в рот тебе нехороший? Препятствуешь следствию?..» Оказалось, что он в списке указал неправильно фамилию одного филателиста, «с» написал вместо «ц», – откуда было ему знать, как эта сволочная фамилия пишется, в паспорт же он к нему не заглядывал... а они найти его не могли, весь

Горький перевернули – нет такого, как в землю провалился... Слава богу, все тут же выяснилось и обошлось одним неистовым этим криком да небольшим расстройством до конца дня...

Потом все кончилось. Его вызвали, поблагодарили, подписку взяли о неразглашении, а через несколько месяцев (война уже тоже кончилась) дали квартиру, – правда, в Ленинграде, но зато хорошую, двухкомнатную, на третьем этаже (в Москве он жил в полуподвале с окнами на общественный туалет). А еще через полгода пригласили к большому начальнику, и тот, с улыбкой, вручил ему ордер на получение конфиската: разрешение получить конфискат в количестве «два экз.», на его собственный выбор. Как сотруднику, проявившему себя. («Вы же свои марки отдали, из своей коллекции, мы же знаем, не забыли...»)

...На складе конфиската сонный толстомясый старшина выбросил перед ним на прилавок штук двадцать альбомов... господи, это было как в прекрасном сне! Он выбирал и выбирал, листал, проглядывал, откладывал, принимал решение и тут же брал его назад... о сладкие муки выбора на халяву! А потом, уже решившись, уже выбрав, уже отложив, уже даже распишавшись в получении, – не выдержал, заныл, принялся просить, клянчить, канючить со слезами в голосе: ну, еще что-нибудь, ну вот хотя бы этот маленький кляссерчик (с подборкой «черного пенни», между прочим), малюсенький, его, наверное, и в описи-то нет... И представьте себе: толстомясый оказался человеком с сердцем в груди. Кляссерчика он, конечно, не дал, но выставил на прилавок несколько картонных коробок, по виду – из-под обуви, и предложил: выбирай, не жалко. И он выбрал. Чепуха там была какая-то, «Altdeutschland» на маленьких вырезках с гашениями, но тоже ведь – на дороге не валяется. Взял. Пусть лежат...

...Этих деталей он тоже никогда даже сыну не рассказывал и, уж конечно, ни слова никому не сказал, что до конца жизни так и проработал «на них» – консультантом по конфискату. И ни разу, между прочим, об этом не пожалел.

Глава третья. Декабрь. По- прежнему второй понедельник Малое мотовилово

– «Чаю, чаю накачаю, кофию нагрохаю», – задумчиво пропел Работодатель на некий не вполне определенный, но безусловно варварский мотивчик.

– Это еще что такое? – спросил Юрий без особого интереса.

– А хрен его знает. Ситуация навеяла.

Они сидели за столиком для подписания договоров и пили чай, поданный и сервированный Мириам Соломоновной. Чай был безусловно горячий, рубиновый, цейлонский, в тонких стаканах с серебряными подстаканниками. К чаю предлагались песочные печенья «Нежность» и божественные плюшки домашней выпечки – Мириам Соломоновна, как всегда, была на недосягаемой высоте.

Юрий, впрочем, пил чай без всякого удовольствия и все время судорожно зевал. Ему не хватало кислорода после перенагрузки и хотелось прикорнуть минуток хоть на десять. Слечу когда-нибудь с нарезки, думал он обреченно. Ну и работку я себе подобрал, мама дорогая...

– Я все-таки не понимаю: у тебя что-то внутри щелкает, или как? – спросил вдруг Работодатель и поглядел пристально.

– Или как, – не приветливо ответил Юрий. Он выбрал себе плюшку поподжаристой, неохотно откусил, отпил из ложечки.

– Нет, но все-таки... – настаивал Работодатель. – Я и сам не лаптем деланный, слава богу, не жалею, как-нибудь вранье от правды отличу, но не на сто же процентов, в самом деле.

– А я – на сто. Вот и вся между нами разница. Ты мне за эту разницу деньги платишь.

– Хорошо, хорошо. Деньги... Тебе бы все о деньгах... А ты объясни. Сколько раз уже обещал. Ну, вот что ты чувствуешь, когда он врет, какое при этом у тебя ощущение? Физически?

Юрий мучительно хрустнул челюстями, подавляя в зародыше очередной зевок. Ну как это можно объяснить, подумал он обреченно. И в особенности – здоровому человеку объяснить, у которого сердце – как метроном... Никак не объяснить. Да и незачем.

– Как будто жизнь уходит через плечи, – сказал он медленно. И тут же сам себе удивился. Не хотел ведь говорить, а все-таки сказал. И совершенно напрасно, разумеется.

– Это что – цитата? – осведомился Работодатель.

– Нет. Это такое ощущение.

– Только не надо наводить хренотень на плетень.

– Да шел бы ты.

Поговорили. Некоторое время чаепитие продолжалось в демонстративно-недоброжелательном молчании. Потом Работодатель спросил нарочито деловым тоном:

– Завтра расшифруешь запись?

– Естественно. Может быть, даже сегодня.

– Сегодня уже не успеть, – проговорил Работодатель, словно бы извиняясь. – У нас сегодня еще один клиент. Причем очень серьезный. Ты как – выдержишь?

– Если он будет врать так же, как этот, – обязательно слечу с нарезки. Клянусь. Это было что-то особенное.

– Да-а, любопытный экземпляр. Не знаю что и думать.

– А я и не пытаюсь, – сказал Юрий, наливая себе еще полстакана. – Тьма кромешная. Не представляю, что ты будешь со всем этим делать.

– Да ничего, скорее всего.

- То есть?
- Да не крал у него никто этой марки.
- То есть?

Работодатель покончил со своим чаем, откинулся на спинку дивана, переплел голенастые ноги диковинным джинсовым винтом и занялся «ронсоном» и сигареткой – аккуратно закурил, пустил два аккуратных колечка в потолок, посмотрел на Юрия, прищурившись.

– Ты, главное, не углубляйся, – посоветовал он проникновенно. – Зачем это тебе? При твоих-то моральных принципах?

Мои моральные принципы, подумал Юрий. О боже! «Не бери чужого и не словоговори ложно». А в остальном: «Перекурим – тачку смажем, тачку смажем – перекурим». Роскошная нравственная палитра, снежные вершины морали...

– Перекурим – тачку смажем, – сказал он вслух, – тачку смажем – перекурим...

– Воистину так! – воскликнул Работодатель и, словно спохватившись, принялся затапывать окурки в пепельнице. – Поехали. Нам еще пилить и пилить – сорок пять кэмэ по слякоти.

Однако никуда уехать им не удалось: без доклада, но зато в ватном сером пальтугане до пят ввалился Борька Золотоношин, Агент Би, красноносый и живой как ртуть. Наскоро поздоровавшись за руку (лапы красные, свежемороженые, ледяные), он выхватил из-за пазухи пачку бумаг с загнущимися уголками и сунул ее – с неразборчивым ворчанием – Работодателю, а сам, не садясь даже и, уж конечно, не раздеваясь, принялся цедить себе в наугад схваченный невымытый стакан остатки цейлонского. Судя по нему, дождь на дворе кончился, оттепель тоже, и валил там теперь густой снег – снег этот тут же принялся на Борьке подтаивать и комками шлепаться на ковер, на столик, на диван, потому что Борька непрерывно двигался, перемещался, кипел, испарялся, и Юрий встал и перешел на свое рабочее место – подальше от всех этих физических явлений.

Работодатель проглядел бумаги быстро, но внимательно, как считающая машина, вроде сканера, и уставился на Борьку выжидающе.

– Это все? – спросил он.

– Говорит – все, – ответил Борька, не переставая жевать и прихлебывать.

– Молодец, – сказал ему Работодатель. Он открыл дверцу стенового сейфа, положил туда бумаги, достал из недр небольшой пакетик (зеленый, перетянутый резинкой), сунул в боковой карман и снова запер сейф.

– Вызывать его будете? На ковер? – спросил Борька.

– Обязательно.

– Позвонить?

– Всенепременнейше.

– Прямо сейчас?

– Ни в коем случае! – сказал Работодатель. – Сейчас ты поедешь домой, примешь горяченький душик, пообедаешь, трахнешь свою Светланку...

– Она на работе, – сказал Борька, расплываясь в счастливой улыбке. – Она вчера на работу устроилась.

– Ну, тогда примешь еще один душик – холодненький...

– Да он же там на ушах стоит, Пал Петрович. Он же помрет в ожидании...

– Спорим, что не помрет? – предложил Работодатель. Он уже натягивал свой титанический плащ. – Позвонишь ему вечером, часиков в семь, не раньше, и назначишь на завтра, на десять, здесь. И пусть принесет остальное...

– Он говорит, что это – все.

– ПУСТЬ ПРИНЕСЕТ ОСТАЛЬНОЕ! – гаркнул Работодатель. – Так ему и передай. И таким же вот тоном. Пускай в штаны поднавалит – Простатит Аденомыч неоперабельный!

«Простатит Аденомыч» – это была жемчужина дня, и Юрий с удовольствием поаплодировал, отдавая Работодателю должное. Однако Работодатель настроился уже на серьезный лад.

– Собирай писалку, – скомандовал он. – Да пошевеливайся, я уже одет, как видишь.

– Секретку или обычную? – спросил Юрий.

– Бери обе. На всякий случай. Обе пригодятся.

– Слушаюсь, командир, – сказал Юрий и принялся собирать регистрирующую аппаратуру.

А Борька-агент стоял со стаканом остывшего чая и отрешенно-задумчивым взором гипнотизировал единственную оставшуюся на блюде плюшку – так хамелеон гипнотизирует притихшую в ужасе муху перед тем, как слизнуть ее раз и навсегда.

В машине Юрий наладился подремать – расслабился, пристроив голову в щели между спинкой и стенкой, закрыл глаза и попытался думать о приятном. Как он идет в подвальчик «24 часа» и накупает там вкуснятинки для Жанки: карбоната, семги, осетринки горячего копчения... французский батон... маслица «фермерского»... «икорки, понимаю»... И бутылку «бефитера», и швепс-тоник, разумеется... Пусть это у нас будет пир духа, подумал он со сладострастием. Вечер плотских утех и радостных возлияний... Только вот если клиент попадетса нехороший, ничего из плотских утех не получится – измотаюсь как жесьть на ветру...

– А что за клиент? – спросил он, не раскрывая глаз.

– Небось, небось, – откликнулся Работодатель. – Клиент нормальный. Большой говорун.

– Но при этом – брехун?

– Надеюсь, нет. Иначе грош ему цена. Да и мне тоже, – добавил Работодатель самокритично.

– Действие происходит у него дома?

– Нет. Действие у нас развивается в стенах дома для престарелых и убогих имени господина Брызговицына. Слышал про господина Брызговицына, Леонида Юрьевича? Долларовый мультимиллионер и благосклонный покровитель малых сих – бездомных собак, кошек, осиротевших крокодилов, а также окончательных калек. Феноменальная личность, но мы с ним не повстречаемся. Он сейчас в Дрездене, на ярмарке фарфора. А мы будем иметь откровенную и продолжительную беседу с господином Колошиным, Алексеем Матвеевичем. Алексей – божий человек. Это – фигура! Сам увидишь.

Они стояли на площади Победы и пропускали транспорт, движущийся во встречном направлении по Пулковскому шоссе. Пушистый ласковый снежок сменился теперь свирепой крупой, ветер крутил ее столбом, и видно было в сереньком свете вяло помирающего денька, как опасно поблескивают наледи на асфальте, схваченном внезапным морозцем.

– И где это все будет у нас происходить?

– В населенном пункте Мотовилово.

– О, Мотовилово! Пуп земли русской.

– Нет, браток, – возразил Работодатель. – Пуп земли – это Большое Мотовилово, а мы с тобой едем в Малое.

Юрий снова закрыл глаза и расслабился. Малое так Малое. Хоть и вовсе – Микроскопическое. Микро-Мотовилово – это звучит даже недурно. Макро-Мотовилово и Микро-Мотовилово... Еще часа три, подумал он. Ну, пускай четыре, и все кончится, и я дома, и можно будет на все наплевать. Лишь бы клиент не оказался тяжелым. Пусть это будет... пусть это будет достойный старый джентльмен, жаждущий, скажем, проследить судьбу своего не вполне путевого внука... Или, например, судьбу дочери, попавшей в сети организованного шантажа... Интересно, откуда у джентльмена из дома престарелых деньги, чтобы с нами расплатиться? «Мы фирма дорогая...»

– А кто он такой – этот твой Галошин? – спросил он, не раскрывая глаз.

– Не Галошин, – сказал Работодатель наставительно, – и не Калошин, а – Колошин. От слова «колоситься». «Раннее колошение хлебов...» Он – секретноноситель.

– То есть?

– То есть лицо, которому известны сведения, составляющие государственную тайну.

Услышав это, Юрий встревожился и раскрыл глаза:

– Еще чего нам не хватало! Зачем это тебе?

– Небось, небось. Все схвачено. Никто – ничего. На самом деле он у нас глубокий инвалид, бесконечно от всего далекий. Так что успокойся и дрыхни дальше. Нам еще пилить и пилить, а дорога – вон какая.

Дорога была – каток. Сумерки уже наступали – час между собакой и волком, – встречные машины включали фары, и лед мрачно поблескивал в их желтоватом пока еще свете. Все, кто ехал навстречу, ехали медленно, не ехали даже, а ползли, – пробирались осторожно, словно бы ощупывая ближним светом дорогу перед собой.

– Щас спую, – проговорил Работодатель напряженно, и Юрий тотчас же сел прямо, ухватившись для надежности за скобу над дверью. Дрянь дело, подумал он. Работодатель вроде бы даже и не совершал ничего, никаких заметных действий, только газку, может быть, чуть добавил, чтобы совсем уж не остановиться, но машину вдруг повело, она грузно завилыла и пошла боком-боком-боком, словно краб по камню.

– «Вечерело. Серенький дымок...» – затянул жалобным высоким голосом Работодатель, нежнейшими движениями руля выправляя занос, – «...таял в розовых лучах заката...»

Каждый раз, когда они попадали на трудную, непроезжую или опасную дорогу, Работодатель принимался петь, и песни его всегда были в этом случае жалостливые, странноватые и, как правило, совершенно незнакомые.

– «...Песенку принес мне ветерок, милая, что пела ты когда-то...»

Вляпаемся сейчас в какой-нибудь «мерседес», думал Юрий, окаменело уставясь в роскошные красные фонари впереди ползущей иномарки. Вовек не расплатимся... Или в нас кто-нибудь вмажется, мэн крутой. С тем же результатом... А в кювет не хочешь? Хорошие кюветы, многообещающие, двухметровой высоты... (И серые подслеповатые равнодушные домики по пояс в снегу, справа и слева от дороги. И заснеженные мерзлые деревца. О этот свинцовый идиотизм деревенской жизни!..) Машину снова повело и снова без всякой видимой причины. Юрий еще крепче вцепился в скобу правой рукой, а левой уперся в торпеду – для прочности. «Для прочности, для легкости и для удобства стекания крови», – пронеслось через сознание ни с того, ни с сего, а Работодатель все тянул заунывно, все страдал, все жаловался: «Где ты и в каких теперь краях... я тебя так часто вспоминаю...»

Они ехали уже больше часа. Сделалось темно. Встречные огни слепили, а лед на дороге выглядел так, словно это была не дорога, а замерзшая река. Белая крупа поземки металась в лучах фар. Сзади чудовищный автобус-междугородник грозно и опасно нависал, сверкая огнями, повисел минуты две, а потом вдруг тяжело выдвинулся и угрюмо пошел на обгон. Юрий стиснул зубы. Давай-давай, железа много. Обгоняльщик тоже мне нашелся... Автобус шипел и ревел, повиснув теперь уже слева, а Работодатель замолчал и совсем окаменел за рулем – он еле полз по самой кромке шоссе, не решаясь ни поддать газу, ни – упаси господь – затормозить.

Потом созвездие красных и желтых огней вместе с огромной кормой сухопутного дредноута, обросшей грязной снежной коростой, ушло вперед, повисело недолго рядом с приплюснутой (казалось – от ужаса) иномаркой и окончательно погрузилось в ночь и метель.

– «Гвоздики алые, багряно-рдяные дождливым вечером дарила ты...» – с облегчением затянул Работодатель, несколько раздервянев душой и телом.

Эту песню Юрий знал, а потому с готовностью и энтузиазмом тут же подхватил вторым голосом:

– «А утром снились мне сны небывалые, мне снились алые в саду цветы...»

В лучах фар впереди сверкнул синий указатель «М. Мотовилово 6 км», Работодатель снизил скорость до минимума и с величайшими предосторожностями повернул направо (хорошо хоть, что не налево!), на заметенную девственным снегом дорогу с неглубокой колеей. По обеим сторонам здесь высились восхитительно безопасные сугробы, за сугробами чернел шатающийся под ветром кустарник, а в лучах фар, слава богу, теперь не было ничего, кроме столбов крутящейся снежной крупы и серебристо-черной пустоты.

А если встретите ее на воле вы,
То не старайтесь собой увлечь —
Здесь за решеткою, в темнице каменной,
Лишь я любовь ее могу сберечь...

С последними словами этой древней тоскливой песни, сочиненной, говорят, знаменитым тюремным бардом еще времен Великих Посадок, подъехали они к настезь распахнутым, с покосившимися створками, воротам в дощатом высоком заборе. Забор уходил вправо и влево в непроглядную выжнюю тьму, так что видна была лишь пара десятков метров облезлых досок с уныло провисшей колючкой поверху.

Обширный двор внутри изгороди был пуст. В глубине светился разноцветными заштопанными окнами трехэтажный плоский дом с заснеженными автомобилями у подъезда. Отдельные деревья собирались справа и слева от дома в какое-то подобие лесочка. А под одиноким фонарем посреди двора стоял засыпанный снегом ссутулившийся человек в балахоне до пят с капюшоном (словно солдат с верещагинского триптиха «На Шипке все спокойно»), и носился вокруг него, волоча за собою поводок, пятнистый фокстерьер, похожий как общим видом, так и манерами своими на сосредоточенно энергичного кудрявого поросенка.

В светлом и пустоватом вестибюле висел некий незнакомый, но крепкий дух, не больничный какой-то, скорее, зоологический или ботанический, а может быть – просто сердечных капель в смеси с легким, словно бы мерцающим, запашком какого-то неопределенного говнеца. Тетка в зеленом халате сидела неподвижно в углу со шваброй поперек колен и с белым жестяным ведром у ноги, – без всякого интереса смотрела на них и молчала. За регистрационной стойкой никого не было, и никто даже не попытался остановить их, когда они – Работодатель решительно впереди, Юрий, озабоченно насупившись, следом – пересекли помещение и углубились в коридор, подсвеченный голубыми газосветными трубками.

Работодатель, видимо, уже бывал здесь, но ориентировался не так чтобы очень. Сначала он (поминутно поглядывая на часы) поднялся на третий этаж, ткнулся в какой-то сумрачный прокуренный кабинет без людей и без света, потом, поминая черта, снова спустился на второй, прошелся, читая таблички на дверях, вдоль всего коридора до самого застекленного тупика, за которым ничего уже не было, кроме метели и тоскливо раскачивающихся деревьев, резко повернул направо в неприметную дверь без всяких надписей и указателей и по слабо освещенной узенькой лестнице снова поднялся на третий этаж. Все это время Юрий следовал за ним молча и беспрекословно, дивясь только странным порядкам в этом странном доме престарелых: пустота-безлюдье, как в заколдованном царстве, везде понатыканы волосатые пальмы в толстых бочках, и – тишина, словно в храме божием.

Впрочем, дальше пошло еще страннее. Они вошли без стука в стеклянную, но покрашенную белой краской по стеклу дверь с табличкой (которую Юрий прочитать не успел: что-то вроде «дактилоскопия» или «отоларингология» промелькнуло и в памяти не задержалось). За дверью оказалась комнатка – стол, стеклянные стеллажи (с лекарственными пузырьками)

справа-слева, страшноватые медицинские схемы-расчлененки развешаны по стенам. За столом читал газету «Коммерсантъ» человек в белом несвежем халате, похожий на кого угодно – на палача, на мясника, на гардеробщика, – но никак не на врача и даже, пожалуй, не на санитаря. Газету он тотчас же опустил и отложил в сторону, а сам стал смотреть на вошедших светлыми, редко мигающими глазами – круглоголовый, коротенькие волосы белобрысым ежом, тяжелая челюсть и массивные плечи профессионального вышибалы.

– Алексей Матвеевич нам назначил, – поспешно сообщил ему Работодатель с некоторой даже (как Юрию показалось) угодливостью и снова поглядел на часы. – Романов. Павел Петрович. Контора «Поиск-стеллс».

Плечистый доктор опустил глаза, разбрехал толстым пальцем на столе беспорядочные бумажки и тем же пальцем повел сверху вниз по какому-то – явно – списку. Видимо обнаружив там царственные ФИО Работодателя, он легко поднялся и, подойдя к дверям в глубине кабинета, два раза деликатно стукнул костяшками пальцев по филенке. Никто и никак ему вроде бы не ответил, но он легонько толкнул дверь и сделал Работодателю приглашающий жест: прошу.

Они вошли. Войдя, Юрий сразу же ослеп, обомлел и покрылся нервическим потом. В помещении стояла тьма и оглушающе горячий воздух, словно в деревенской бане по-черному. Освещена была только неестественно белая постель со скомканными простынями и человек посреди этих простыней, – вернее нижняя половина человека: ноги в кальсонах, босые и словно бы неживые, словно бы брошенные кое-как кем-то посторонним.

– Чего ж ты опаздываешь, голубок? – проскрипел из темноты сварливый голос. – Сказано было как? Сказано было: с четырех до пяти. А сейчас сколько? – Голос был с неприятной то ли трещинкой, то ли хрипотцой – слыша его, мучительно хотелось откашляться. – Мы так с тобой не договаривались. Сейчас вот отправлю тебя в обратный зад и буду в своем праве!

Работодатель, ничего на этот внезапный выговор не отвечая, извлек у себя из-за пазухи давешний зеленый пакетик, перетянутый резинкой, и аккуратно положил его на прикроватный столик среди стаканов, бутылок, бокалов и тарелок с засохшими объедками.

– Хм... – неприветливый человек в кальсонах немедленно смягчился. – Ладненько, – сказал он тоном ниже. – Плюнули и забыли. Что так задержался? Дорога плохая?

– Гололед, – подхватил Работодатель как ни в чем не бывало. – Еле добрались, честное слово. Думал, разобьемся...

– Не тот первый прибежит, кто быстрее бежит, – произнес хозяин постели назидательно, – а тот, кто раньше выбежит! Раньше выезжать надо было, тогда бы и не опоздал. Тогда бы и меня, старого человека, не заставил бы нервничать...

– Виноват, Алексей Матвеевич, – сказал Работодатель смиренно. – Более не повторится.

– Уж я надеюсь! – сказал хозяин заносчиво и спросил с отчетливой неприязнью в голосе: – А это кто с тобой? Он – с тобой, я полагаю?

– Со мной, со мной, – успокоил его Работодатель. – Это мой сотрудник. Юра его зовут. Он будет вас записывать, Алексей Матвеевич. Для истории.

– Ха! «Истории для истории». Отчегё же. Можно и для истории, это значения не влияет...

К этому моменту Юрий уже по привычке к темноте и стал помаленьку разбираться в обстановке. Теперь он видел, что комната велика (дальняя часть ее, та, что за кроватью, совершенно скрывается во тьме), есть поблизости, слева, большой овальный стол со стульями вокруг, какие-то титанические не то шкафы, не то буфеты вдоль стены... толстый ковер под ногами... черные квадраты окон, плотно закупоренных мохнатыми шторами... Все это было странновато (для дома престарелых), но страннее всего смотрелся (в рассеянном от простынь свете) все-таки сам хозяин: поблескивающий голый череп, обросший по бокам косматой черной волосней, косматая борода во все стороны, огромные черные очки на пол-лица (такие в начале века называли «консервами») – он мучительно напоминал кого-то, какого-то всем известного и крайне неприятного человека, и спустя немного Юрий понял – кого: перед ним возлежал на

разобранной постели чеченский бандит и террорист Салман Радуев, лично-персонально, без своеобычной, правда, боевой фуражки с длинным козырьком, но зато – в кальсонах.

Потрясенный этим своим маленьким открытием, Юрий упустил сам момент представления, поклонился неловко и не вовремя и принялся расстегивать на себе куртку, одновременно озираясь в поисках подходящего сиделища. Ан не тут-то было!

– На пол садитесь, на пол! – распорядился бандит, он же террорист. – На ковер! Ковер хороший, удобный, садись на попу... И раздеваться не велю! Нечего тут у меня блох трясти.

Совсем уже ошеломленный Юрий замер с пальцами на последней пуговице, а Работодатель – ничего: тут же, не говоря лишнего слова, скрестил свои длинные ноги и ловко уселся по-турецки в двух шагах от кровати, ничуть не смущаясь того обстоятельства, что голова его теперь оказалась как раз на уровне хозяйских кальсон. Юрий все еще колебался, но тут Работодатель так глянул на него (снизу вверх), что пришлось немедленно опуститься на корточки, а потом и перейти в позу лотоса – преодолевая хруст в суставах и мучительные боли в нерастянутых, совсем не приспособленных к таким внезапным подвигам, сухожилиях.

А странный (и страшный) хозяин уже говорил, – словно с утра еще дожидался, никак все дожидаться не мог и вот еле-еле дождался наконец такой редкой и желанной возможности. Его словно прорвало. Он говорил непрерывно, жадно, но на редкость сбивчиво, перескакивая с одного на другое без всякой видимой системы, и спервоначалу очень трудно и даже почти невозможно было понять: о чем это он? О ком? О каких местах и временах?..

...Палата у них была огромная, широкая и длинная, может быть, старинная казарма или царских еще времен казенная больница: высоченные сводчатые потолки, полы, выстеленные расписным кафелем, тюремного вида окна – высоко, три с лишним метра, над полом, – и забраны двойной решеткой – одна изнутри, а другая снаружи, по ту сторону стекла. Шестидесят восемь койко-мест, и почти все время – полный комплект нашего брата: шесть десятков гаврилоидов в возрасте от шестнадцати до шестидесяти.

...Холодно всегда было в этой палате, вечно они там все мерзли, как плешивые собаки, а им говорили: так и положено, цыц!.. Холодина, скучища, никакого женского персонала, санитары – сплошь мужики, солдатня, да еще и кормили впроголодь: «пятый стол», каши-машки-какашки, а мясо вареное – по большому только праздникам: на октябрьские, да на майские, да на Новый год. Но кровати были – хорошие, с пружинными матрасами, деревянные, и чистое белье всегда, меняли два раза в неделю, халаты теплые, фланелевые, с полосками, кальсоны и рубахи, правда, похуже, чем здесь, солдатские, проштемпелеванные: «Шестое Особое Управление НКВД». А что это за НКВД – неизвестно, и никогда не было известно никому...

...Главное, от скуки все подыхали. Книжки читать – не тот был контингент, чтобы книжки читать. Прогулок не положено. Оставалось одно: перекуривать да языки чесать. Их всех, конечно, предупреждали строго, чтобы не трепались между собой. «Враг, блин, подслушивает». Но как тут можно было удержаться? И о чем еще людям разговаривать, кроме как о своих мучениях. Опять же – все ведь кругом свои. Какие тут могут быть, к растакой матушке, враги, когда я – питерский, а Вован-Кривоногий – из Чкалова, а Толька-Лапай – вообще даже из лагеря, сука приבלатненная...

(Все это смотрелось почти как в нездоровом сне. Или, вдруг, налетало иногда, что это все на самом деле – театр. Тихая тьма. Неестественно резко освещенная сцена. Гениальный, ни на кого не похожий, актер на этой сцене... бесконечный и нарочито бессвязный монолог его, почти без жестов и совсем без мимики... Мертвенная неподвижность театра абсурда, и только – вдруг – время от времени, без приказа, без намека даже на какое-то распоряжение, беззвучная, словно тень, и бессловесная, как призрак статиста, – женская фигура появляется по ту сторону постели, едва видимая в темноте, но в черном непристойно тонком платье на голое

тело и подает диковинному этому рассказчику очередной бокал с темно-вишневым питьем... И – адова жара, воздух в легких, кажется, уже шипит, но почему-то все время мерзнет вытянутая – с диктофоном – рука...)

...Один был – кавказец, то ли грузин, то ли осетин, – он всегда молчал, а когда обращались к нему, только буровил в ответ поганым черным взглядом, так что и не порадуешься, бывало, что затеялся с ним разговаривать. Он круглые сутки только спал да жрал, кормили его отдельно от нас, держали на особой диете, но он не толстел и всегда был голодный, как волчара, смотреть было страшно, как пожирает он курятину вместе с костями или ложкой гребет свою кашу, – ни крошки никогда после него в тарелках не оставалось, а пайку ему давали двойную, а может быть, и тройную. Ну, и не даром, конечно. В этом мире ничего даром не бывает. Его брали на процедуры не часто, раз, много два раза в неделю, но уж обратно – привозили на каталке, сам идти не мог, и черно-синий становился он после этих процедур, что твой удушенник. Полежит пластом (тихо, без звука, даже дыхания, бывало, не слышать) сутки, и снова – как зеленый огурец... И вот однажды вечером, все уже помаленьку спать укладывались, разговоры сворачивали, затихали один за другим – он вдруг поднялся с койки, огромный, как статуя какая-нибудь, и пошел, пошел, пошел, ни на кого не глядя, к выходу, где дежурный сержант задницу свою просиживал, в носу ковырял от скуки. Сержант этот вскинулся было (тоже не цыпленок, к слову сказать, мужик ядреный, как сейчас говорят – накаченный), но он его с дороги смахнул, как хлебные крошки со скатерти смахивают, – сержант этот без единого пуга загрохотал по кафелю по проходу между койками да так и остался лежать, как Буратино, до поры до времени. А он, прямой, как шкаф, вышел на коридор, грохнуло там что-то, заверещало, будто кошку прищемили и – все. Больше мы его не видели никогда, как не было человека... Да и был ли он человеком, вообще? Не знаю, судить не берусь. То есть поначалу-то – был, конечно, как все, но вот что они потом из него сделали? Это, знаешь ли, вопрос!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.